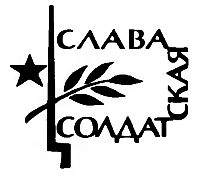

БОРИС ЗУБАВИН
Гарнизон «уголка»
СЛАВА СОЛДАТСКАЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



БОРИС
ЗУБАВИН

Гарнизон «уголка»

РАССКАЗЫ

РИСУНКИ А. МАЛЕИНОВА

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1977

Р2
З-91

Для среднего и старшего возраста

Борис Михайлович Зубавин

ГАРНИЗОН «УГОЛКА»

Ответственный редактор З. С. Карманова. Художественный редактор А. Е. Цветков. Технический редактор Г. Г. Стан. Корректор Е. И. Щербакова. И. Б. № 1085. Сдано в набор 13/VII 1976 г. Подписано к печати 22/XII 1976 г. Формат 70Х90/16. Бум. офс. № 1. Печ. л. 4. Усл. печ. л. 4,68. Уч.-изд. л. 4,04. Тираж 300 000 экз. А11786. Заказ № 295. Цена 16 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата Совета Министров РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Зубавин Б. М.

З-91 Гарнизон «уголка». Рассказы. Рис. А. Малеинова. М., «Дет. лит.», 1977.

64 с. с ил. (Слава солдатская).

Рассказы о Великой Отечественной войне, о героизме советских воинов.

З $\frac{70803-081}{М101(03)76}$ 238—77

Р2

ТРУДНЕЕ, ЧЕМ НАМ

Это был здоровенный фашист. Рябов схватил автомат за ствол, замахнулся — и в этот момент сильным ударом в бок был отброшен в канаву. Немец тоже свалился, скошенный, видать, шальной пулей.

Вот судьба! Еще вчера он своим кулачищем сшиб гитлеровца, а сегодня сам полетел в канаву, как щенок. У Рябова были толстые пальцы. Когда он сжимал кулак, получалась пудовая гиря. Он сшиб немца одним ударом, все вчера видели.

Рябов полз по канаве на четвереньках, по плечи проваливаясь в снег. Ладони его горели, и снег потому казался горячим. Ему некуда было спрятаться, его могли прошить из автомата оттуда, из-за дороги.

В канаве лежал гитлеровец. Он в безумной улыбке щерил желтые, прокуренные зубы и пристально смотрел в небо одним глазом. Во впадину другого его глаза намело снегу, и снег этот не таял.

Перевалившись через мертвеца, Рябов увидел своих. Двое с ручным пулеметом, пригнувшись, бежали к нему по канаве.

— Давай живее! — прохрипел он.

Пулеметчики упали около него. Один молча, тяжело сопя, стал открывать коробку с магазинами, а другой, задыхаясь, взволнованно и виновато шептал:

— Сейчас... сейчас... сейчас... — и никак не мог укрепить сошки, они все подгибались.

— Ты, чучело, — сказал Рябов и, оттолкнув пулеметчика, стукнул своим кулачищем по сошкам так, что они, распрямившись, тихо звякнули.

В это время фашисты выглянули из кустов. Ясно, что они хотели захватить канаву и оседлать дорогу.

— Нате выкусите, — язвительно сказал Рябов, поняв их маневр.

Он схватил у пулеметчиков гранаты, закричал «ура» и кинул гранаты в гитлеровцев. А парни ударили из ручного пулемета.

Фашисты метнулись под уклон кустами. Рябов выбежал на дорогу, поднял валявшийся там автомат и погнался за ними, стреляя на ходу.

А по дороге на то место, которое только что отвоевал Рябов, четверка усталых, взмыленных лошадей вскоре вывезла из-под бугра пушку.

Когда начала стрелять эта пушка, фашисты, бежавшие к деревеньке, разом повернули и побежали в сторону, к лесу. А на деревню с трех сторон бежали наши. Среди них был неутомимый Рябов. Пулеметчики, нагнавшие его в канаве, теперь опять отстали.

Из лесу по фашистам хлестнули длинной очередью из станкового пулемета. Они кинулись обратно, но в деревню уже вбежали наши, и Рябов, остановившись на краю ее, кричал пулеметчикам, чтобы прибавили шагу.

Деревеньку гитлеровцы спалили неделю назад. Пожар слизнул соломенные крыши с треском, как собака кости, сожрал бревна стен и, облизываясь, затихая, развалился на пепелище. А в это время в лесу, прячась от фашистов, плакали женщины и старики угрюмо и безмолвно смотрели на зарево.

После пожара три дня бушевала метель. Она трудилась засучив рукава. Так работает чистоплотная хозяйка, избавившаяся от неугодных постояльцев.

Наступление продолжалось. И когда метель успокоилась, наши вплотную подошли к сожженной деревеньке, от которой не осталось даже пепла и головешек; среди чистых сугробов стояли, как раздетые, похолодевшие печи. Только на самом краю, под горкой, виднелась единственная уцелевшая от пожара маленькая избенка.

Когда Рябов добежал до нее, снизу, от леса, уже вели пленных гитлеровцев, а стороной, поднимая стену снежной пыли, прошли танки с десантом.

Танки бросили на преследование противника, который все время хотел оторваться. Но ему не давали: сидели у него на плечах и били. Это началось, наверное, неделю или десять дней назад. Рябов забыл, в какой день. У него все перемешалось в голове, он очень устал. У него потрескались губы, и бессонница воспалила глаза. Иногда ему казалось, что он так устал, что больше не сделает ни шагу. Но командиры, обожженные ветрами, метелью и мартовским солнцем, вели роту вперед, и Рябов шел, забывая, что не может идти.

Когда это началось, наша артиллерия всех калибров полтора часа ломала фашистскую оборону, а потом вылетели наши штурмовики. Они шли рычащими стаями по сто, по полтораста штук. Одни возвращались с бомбежки, другие летели им навстречу. Там, где они работали, все было окутано густым дымом. Но когда поднялась пехота, некоторые огневые точки гитлеровцев еще действовали. Их

брали штурмом и расстреливали из противотанковых пушек, которые тянули на руках в боевых порядках пехоты артиллеристы.

Уцелевшая от пожара избенка, наверное, даже в молодости, когда еще были свежи и ярки ее смолистые витые карнизы и веселые резные петушки, не видела в своих стенах столько народа. Автоматчики заняли на полу и на лавках самые лучшие места и уже спали. Пулеметчики, которые выручили Рябова в канаве, теперь сидели среди спящих и ели хлеб с салом.

В избе плакала девочка. Рябов не обратил бы на это внимания, если бы не женщина, сидевшая рядом с девочкой на печи, свесив ноги, обутые в серые большие валенки. Испуганно взглянув на Рябова, женщина нервно крикнула:

— Цыть, не реви!

Этот окрик остановил его у порога.

Но тут добрый старушечий голос с мягким, всепрощающим укором произнес:

— Бог с тобой, Настасья! Теперь можно. Пусть теперь поревет... Ништо...

И Рябов увидел около окна маленькую сухонькую старушку, у ног которой, как преданные сыновья, разметались во сне автоматчики.

— У нас так-то вот заревел спросонок мальчонка, — пояснила старушка Рябову, — а фашисты его, босого, и выгнали ночью на мороз. Она и боится. Не привыкла еще... Проходи, желанный, проходи. Устали вы, детушки наши родные. Трудно вам: все в огне, все в битве. И выспаться некогда. Что он, проклятущий, наделал, что наделал...

— Ничего, мать, отдохнем, когда врага побьем, — бодро сказал Рябов, а сам оглянулся, ища, где бы прилечь. Про себя он решил не упускать подходящего момента и выспаться.

— Ну вот, приходит в избу фашист, — рассказывала старушка кому-то, сидевшему в темном углу, — а старик мой в ту пору в новых валенках был. Хорошие валенки, черные, с высокими голенищами, теплые-теплые. Мы их валяли из своей шерсти у знакомого шаповала. Хороший такой мужчина был, непьющий. Приходит, значит, фашист, а старик сидит у печки на лавке. У него к погоде спину ломило. Он ее тогда все у печки грел. Сядет на лавку спиной к печке, и так вроде ему легче. Успокаивался...

Высмотрев себе место, Рябов стал пробираться, осторожно шагая через спящих. Уселся, положил под голову шапку и закрыл глаза. Дверь избы то и дело открывалась, и входили новые люди. Вошел

комбат. Ему уступили место на лавке, он облокотился на стул и подпер голову кулаком. А старушка продолжала рассказывать, и ровный голос ее никому не мешал спать:

— Сидит так-то вот мой старик у печки на лавке, а фашист стоит вот этак у двери. Увидел на старике валенки и велит: «Снимай!» А старик мой упрямый был, страсть. Всю жизнь меня этим промучил, царство ему небесное. Погладил бороду и отвечает: «Снимешь валенки — так твои». И уперся ногой в пол. А как он упрется, бывало, так-то ногой, с него сыновья втроем снять не могли. Такая у него сила, стало быть, в ногах жила. Ну, подсел к нему фашист окаянный, и так и этак около ноги — а не снять. Рассердился, кричать стал. А старик сидит себе и сидит. Вскочил фашист, плюнул — и за дверь. Я еще тогда сказала старику-то, как тот ушел: отдай, мол, не с сыновьями связался. А он мне говорит: «Не обую я фашистов в свои валенки. Не про них, шелудивых, они валяны». Только он это, батюшка мой, сказал, а в избу вваливается их человек, никак, восемь. Загалдели, схватили сейчас моего старика — и во двор... Пинали они его там, за бороду таскали... О господи!.. Так и погиб... Удавили его. Сняли, ироды, с него валенки и ушли...

Рябову показалось, что он спал всего лишь несколько минут. Открыв глаза, он увидел, что в избе по-прежнему светло, и не сразу понял, что это наступило утро другого дня. Горький рассказ старушки он помнил от начала до конца.

Он вышел во двор и зажмурился: его ослепило сверкание сугробов под лучами морозного утра.

Еще холодно. Но часа через три снег на дорогах станет мягким и ледяные гребешки, оставшиеся от вчерашнего припека, начнут потихоньку таять и меняться в форме. Тогда можно будет расстегнуть телогрейку. Шапка, всю зиму удобная и нужная, станет тяжелой. Ее придется передвигать то на затылок, то на лоб, то набок — и все равно она будет мешать.

Поднявшись на горку, Рябов остановился потрясенный: во всех печах, стоявших теперь на месте сожженных изб, горел огонь, и около них топтались закутанные платками женщины с ухватами и горшками. Они вернулись из лесу, и им негде было сварить обед.

Они варили обед на улице, каждая в своей печке. Рябову показалось в эту минуту, что он не видел ничего страшнее: стоят среди сугробов печи, а в них варят обед. А на одной печи сидит мальчишка. На нем большая шапка колоколом; он притих, нахохлился,



прижавшись боком к теплой трубе, из которой вьется в небо сизый дым.

— Вот как им трудно, — проговорил Рябов, растерянно разводя руками. И то, что он часами лежал на снегу, мерз под пулями, а потом вскакивал и бежал, потея и задыхаясь, вперед и вперед, без отдыха, почти без сна, лишь вздремнув у походного костра и наглотавшись его едкого дыма, — все это, вместе взятое, казавшееся раньше неимоверно трудным, сейчас представлялось ему совсем пустяковым, и он добавил: — Даже труднее, чем нам.

Эта фраза, произнесенная вслух, вывела его из оцепенения. Он сел с автоматчиками на машину, но она долго не трогалась. Рябов не вытерпел, перегнулся к окну кабины и, покраснев от злости, закричал на шофера:

— Какого черта не едешь, если все давно сели!

И когда машина тронулась, он стал во весь свой могучий рост. Встречный холодный воздух ударил ему в лицо, он сощурился, и на глаза туманом набежала слеза, может быть, от ветра...

СЛУГА НАРОДА

На противоположной стороне улицы оторвало угол двухэтажного дома, и пыль от кирпичей и штукатурки медленно оседала на тротуар. Еще минуту назад этот дом был целехонек, даже стекла в окнах целы, и вдруг снарядом оторвало всю верхнюю часть угла, до самого карниза, и стало видно комнату, оклеенную зелеными обоями, бельевой шкаф, кровать, столик, распахнутую дверь и дальше, за дверью, еще комнату с желтыми стенами, очевидно кухню, потому что видны были примус на столе, стопка тарелок и эмалированная кастрюля. Сержант-автоматчик, стоявший рядом со мной, выругался, когда случилось это, и вытер рукавом потное, усталое лицо. Он выскочил из соседнего дома, по которому стреляли с перекрестка. Сержант тяжело дышал от волнения. Лицо его, с резко очерченными скулами, было темным от загара и усталости. Он был выше меня, и, когда мы с ним выглядывали из подъезда на улицу, он жарко дышал над самым моим ухом. Улица казалась пустынной и вымершей.

Я дожидался своих пулеметчиков, застрявших где-то во дворе. У моих ног стояли две коробки с лентами.

Было за полдень, наступление началось в семь часов утра, но

в городе мы пока заняли только вокзал, сахарный завод и несколько улиц на окраине.

Сержант был из другого подразделения, но я знал его фамилию. В начале весны, после большого наступления, мы получали награды, и тогда этому сержанту вручили орден Ленина. Среди нас он был единственный, кого удостоили такой высокой награды, и я запомнил, что его фамилия Рябов.

Наконец прибежали мои запыхавшиеся пулеметчики. Один из них принес еще две коробки с лентами, а второй, ефрейтор, пригнувшись, катил за собой станковый пулемет. Мы развернули пулемет в сторону перекрестка, откуда стреляла вдоль улицы вражеская пушка. Рябов, стоя у стены, наблюдал за нами.

— А ну, дайте им жару, — сказал он.

Пушка держала под обстрелом всю улицу, но нам не удавалось прошить из пулемета бруствер, за которым она стояла: он был очень прочный, сложенный из мешков с песком.

— Эх, — нетерпеливо сказал Рябов, — не выйдет, видно, у вас, — и, оттолкнувшись от стены, побежал через улицу.

По нему ударили из автомата, он упал на той стороне, и мне показалось, что его убили, но, полежав немного, сержант вскочил и, ловко прыгая через кирпичи, скрылся в воротах того самого, только что разрушенного дома.

Опять начала стрелять вражеская пушка, и снаряды проносились мимо нас, а мы ничего не могли поделать. Вдруг на перекрестке раздался один и сразу же вслед за ним второй взрыв. Это уже никак не походило на выстрел. Это были взрывы противотанковых гранат, разметавших мешки с песком так, что стало видно и пушку, опрокинутую этими взрывами набок, и разбросанные вокруг нее гильзы, и снаряды, которые фашисты не успели израсходовать.

На перекрестке уже стоял Рябов. Он что-то кричал нам, и я сразу понял, что его рук это дело: улица была наконец вся очищена. К Рябову подбежали шестеро автоматчиков, сидевших в соседнем доме, вероятно его товарищи, и все они, посовещавшись, двинулись дальше. Когда мы подкатили свой пулемет к перекрестку, их уже не было видно.

— Ишь ты, как он ловко их! — с восхищением сказал ефрейтор, разглядывая опрокинутую взрывом пушку.

Я посмотрел вверх. На втором этаже углового дома было распахнуто окно. Из него-то Рябов, вероятно, и швырял свои гранаты.

За шесть дней наступления мы прошли с боями больше ста километров и очень устали. У нас потрескались губы, лица опалило июльским солнцем и гимнастерки потемнели на спинах от пота и пыли. Всю прошлую ночь мы тоже шли, а утром, лишь немного подремав за железнодорожной насыпью, завязали бой на подступах к городу.

Теперь было за полдень. Бой за город все разгорался, и то там, то сям раздавались стрельба и взрывы. Пахло гарью, воздух был накален солнцем.

Справа от нас, в той стороне, куда ушли автоматчики, началась сильная перестрелка. Прислушавшись, мы решили, что это, наверное, орудует неутомимый Рябов со своими друзьями, и покатили туда свой пулемет. Пробежав улицу, мы свернули направо, потом еще направо, на выстрелы. Пулемет, гремя, подпрыгивал сзади на своих маленьких, словно от игрушечной тележки, катках. В кожухе плескалась вода, и мы один раз остановились, чтобы покрепче завинтить верхнее наливное отверстие.

Улица кончалась маленькой площадью. Там лихорадочно бил по нашим крупнокалиберный пулемет. Несколько пуль, ударившись о стену, рикошетом пролетело мимо нас, басовито жужжа, как шмели. Таких пуль нечего бояться: отскочив от стены, они теряют почти всю свою силу, — и мы даже не пригнулись, когда пули прожужжали мимо. На углу толпились автоматчики. Один из них сидел спиной к стене и, разорвав до локтя рукав гимнастерки, торопливо перевязывал себе руку. На его лице было испуганное и какое-то странно оживленное выражение.

Среди автоматчиков стоял Рябов. Обернувшись, он сердито крикнул:

— Скорее, скорее! Вот неповоротливые...

Крупнокалиберный пулемет стрелял из подвала большого красного дома на той стороне площади. Мы увидели амбразуру, установили свой «максим» и ударили по ней. Вражеский пулемет сразу смолк. Автоматчики, воспользовавшись этим, исчезли за углом вслед за Рябовым. С нами остался только раненый, все еще бинтовавший себе руку. По автоматчикам стали было стрелять из окон нижнего этажа, но они уже подбежали к дому, и я увидел, как Рябов ожесточенно кинул в окно одну за другой несколько гранат. Автоматчики вломились в дверь, стреляя на ходу.

Через несколько минут в доме все кончилось, и из дверей, под-

няв руки, стали выходить фашисты. Они выходили друг за дружкой выстраиваясь вдоль стены под окнами, пугливо оглядываясь и не опуская рук. Потом вышли автоматчики, но Рябова среди них не было.

Гитлеровцев набралось двенадцать человек, и у всех на животах висели круглые гофрированные банки противогазов, похожие на термосы. Автоматчики стали обыскивать пленных, у одного нашли парабеллум и ткнули ему этим парабеллумом в нос. Фашист, испуганно отшатнувшись, стал что-то быстро и умоляюще говорить по-немецки. Автоматчики засмеялись и отошли в сторону. Раненый перевязал наконец руку, поднялся и подошел к своим товарищам. Как раз в это время из дома вышел Рябов. Он что-то сказал солдатам, и те, даже не оглянувшись на нас, пошли вдоль площади, держа наготове автоматы.

С пленными гитлеровцами остался раненый. Повесив оружие на здоровое плечо, он стал деловито распоряжаться, кивком головы показал, куда надо идти, и пленные с готовностью, ловя каждый его взгляд, послушно тронулись в нашу сторону, выстраиваясь на ходу парами. Один из них, шедший в первой паре, опустил руки и вопросительно поглядел на раненого. Раненый разрешил, и другие пленные тоже опустили руки.

Мы стояли на углу, когда эта процессия прошла мимо нас, косясь на пулемет. Раненый остановился и попросил закурить. Пока мы свертывали ему папироску, он критически глядел вслед удалявшимся фашистам, а они, заметив, что он отстал, беспокойно загалдели и остановились, поджидая своего конвоира.

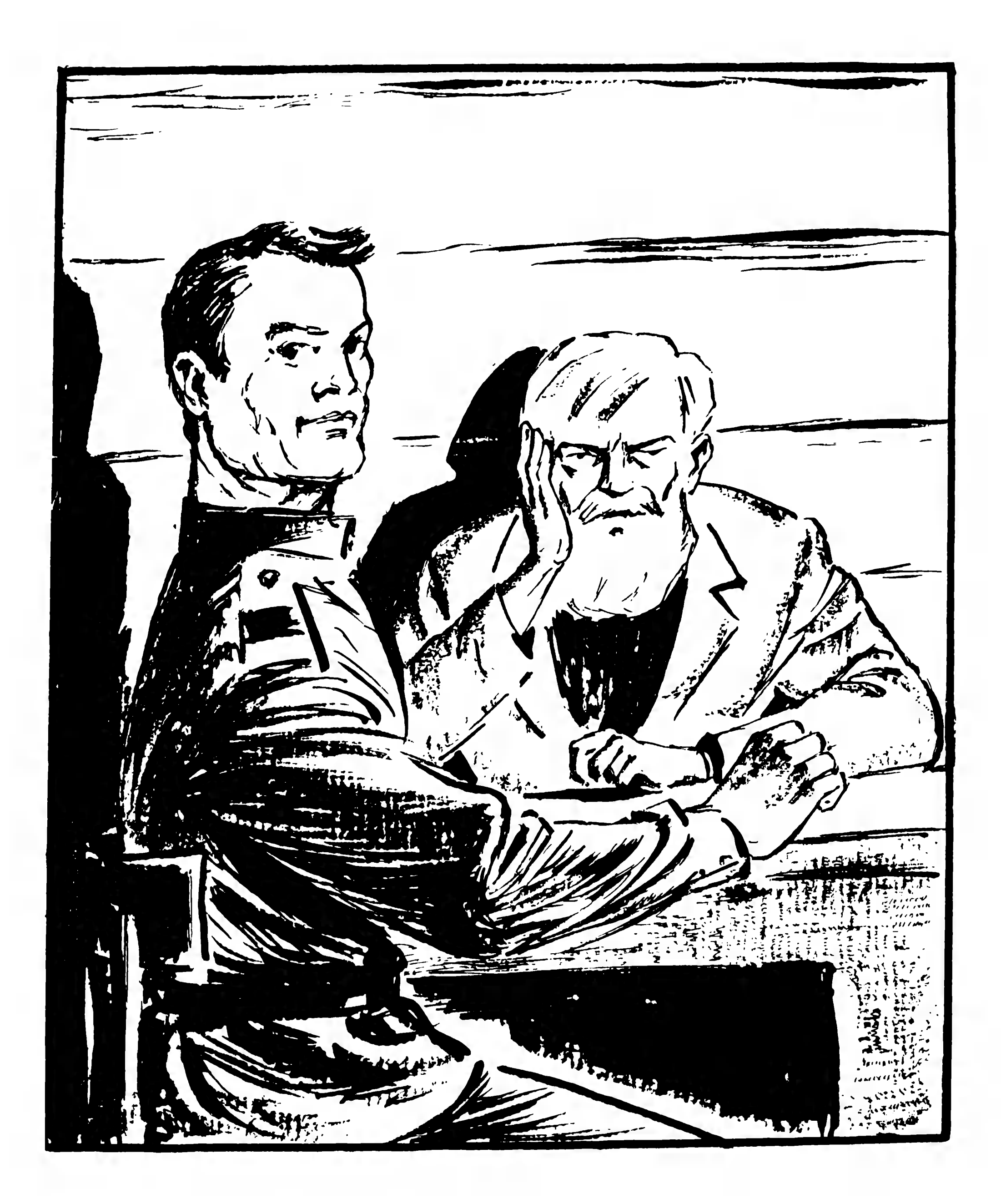
— Ишь ты, — засмеялся раненый, подмигнув нам, — какие дисциплинированные!

Закурив, он догнал их и кивком головы велел идти дальше.

Бой за город продолжался до вечера. Немцы пытались уйти за реку, но наши вышли к реке с двух сторон, охватили город, разбили наплавные мосты, и весь вражеский гарнизон сдался в плен.

Как только утихла стрельба, на улицах появились жители. Они выбирались из подвалов и каких-то ям, вырытых во дворах, шли нам навстречу, лица у них были такие торжественные и счастливые, словно наступил один из больших наших праздников — Первое мая или годовщина Великого Октября.

В город входили обозы. Ревели тягачи, гремели колеса повозок,



дымили кухни. Мальчишки вертелись под ногами у солдат, женщины чистили поварам картошку. Было шумно и многоголосо. Саперы уже начали строить мост через реку, и война сразу вдруг откатилась отсюда километров на тридцать. Гул ее теперь слышался здесь далеким, приглушенным ворчанием.

Наша рота остановилась у реки, солдаты заполнили все ближние дома. Пока мы ужинали, на улице совсем стемнело и наступила ночь. Дом, в котором нам предстояло переночевать, был деревянный, одноэтажный, и во всех его комнатах на полу и на стульях, где только можно, спали солдаты. Я лег на пол и услышал, что за перегородкой разговаривают. Там горела лампа, ее желтый свет проникал в нашу большую комнату сквозь щель полураскрытой двери.

— А вы у нас ночуйте.

— Нет, я пойду к своим.

— Кровать разберем...

— У вас и так полон дом...

Разговаривали тихо, с большими паузами, но я различал все слова.

— Где вы остановились-то?

— А тут, через четыре дома от вас. Бабушка там...

— У Крюковых? Да она, чай, и не узнала вас?

— Кажется, не узнала.

— Эко, слепая старуха.

Помолчали.

— А это я тогда письмо-то вам послал насчет водопровода. Помните? Я говорю соседям: «Давайте напишем Ивану Петровичу, далеко ли тут?» И послали. Ну и спасибо, помогли. В каждом доме водопровод, очень культурно было. А то бегали к колонке. Зимой-то она обледенеет — не подойдешь. А может, у меня заночуете?

— Нет. Электростанция сильно разрушена?

— Восстановим.

— Надо скорее восстанавливать все хозяйство. В первую очередь железную дорогу. Чтобы узел и депо заработали через неделю. Помогите железнодорожникам. А потом электростанцию, завод. Осенью, имейте в виду, завод должен работать. Это дело вашей чести...

Голос говорившего был мне знаком, и я только не мог припомнить, кому он принадлежит. От усталости в голове все путалось, и я никак не мог вспомнить. Я чувствовал, что не засну, пока не

узнаю, чей же это голос. Не вытерпев, я поднялся и, осторожно шагая через спящих, подошел к двери.

За столом, подперев ладонью щеку, сидел старик, хозяин дома.

— Что не спишь? — спросил он, увидев меня. — Спи. Намаялись, чай, за день.

Тот, кто сидел ко мне спиной, оглянулся. Это был Рябов.

Я вошел в комнату.

— Вот, — старик указал на Рябова пальцем, — наш депутат в Верховный Совет республики... Пришел... Вызволил из неволи... Слуга народа... Вспомнил меня и пришел. А мне угостить его нечем. Он вот сам внукам моим гостинец — свой солдатский паек сахара... — Старик часто заморгал глазами, голос его дрогнул.

Помолчали.

— А бывало, полная чаша в доме-то была. — Старик, тяжело вздохнув, махнул рукой.

— Будет, — сказал Рябов уверенно. — Потерпи. Будет.

— Верно? — спросил старик. — Будет?

— Верно, — сказал Рябов. — Верно.

КОМАНДИР БАТАРЕИ

Когда летом сорок третьего года на Орловско-Курской дуге происходило одно из величайших сражений, мы стояли в лесах и болотах Смоленщины и в сводках Совинформбюро сообщалось, что у нас ничего серьезного не происходит, только поиски разведчиков да ружейно-пулеметная и артиллерийская перестрелка. Складывалось такое впечатление, будто у нас в лесу очень тихо и спокойно, и мне порой становилось обидно, что про нас так пишут, потому что покоя-то мы как раз и не видели, особенно по ночам. Правда, когда начинало светать, на всем переднем крае сразу наступала тишина, кончались постоянные небольшие стычки с врагом и за фашистскими окопами в основном оставались следить только артиллерийские наблюдатели, дежурные пулеметчики да снайперы, которые иногда одиноко, скупо постреливали.

Я ложился спать часа в четыре утра, когда поднималось солнце и стихала ночная перестрелка, и просыпался часов в десять. Ко мне приходил старший лейтенант Никитин, командир поддерживающей нас артиллерийской батареи, опытный офицер, призванный из за-

паса, немного нервный и грубоватый, но в общем-то человек незлобный. Его длинноствольные пушки стояли километрах в трех от переднего края, на лесной полянке, а сам он жил у меня в овраге вместе со своими разведчиками.

Наш участок клином вдавался в позиции противника, имея на флангах лишь огневую связь с соседними ротами. Фашисты простреливали нас с трех сторон.

К нам можно было пройти только ночью: сзади окопов лежала голая, как колено, луговина, и фашисты внимательно следили за ней. Мы с Никитиным держали оборону на этом участке четвертый месяц, за все время бывали в тылу только раза три, не больше, и Никитин очень огорчался, что без него на батарее, наверное, творится черт знает что. Всех, кто бы к нам ни приходил, он непременно расспрашивал, не ходят ли его артиллеристы за ягодами, потому что к тому времени в лесу поспело много малины. Командирам огневых взводов Никитин язвительно говорил по телефону:

— Я знаю, вы кисели варите! Погодите, я как-нибудь доберусь до вас!

А добраться было не так-то легко. Нас с ним просто-напросто не выпускали с переднего края. Так распорядился командир дивизии. Он очень беспокоился о нашем участке и требовал, чтобы мы во что бы то ни стало сохранили этот клин как плацдарм будущего наступления.

Ну, мы и хранили. Трудно было по ночам, хотя я знал, что, в случае чего, кроме Никитина, целый артиллерийский дивизион повернет в мою сторону все стволы, чтобы вместе со мной отбить фашистскую атаку.

По ночам у нас никто не спал. Я часто выходил из блиндажа, слушал перестрелку, смотрел на мертвенно-бледные сполохи ракет, разноцветные пунктиры трассирующих пуль, и тревожные мысли одолевали меня. Я думал обо всем нашем переднем крае, тонкой лентой протянувшемся по лесам, полям и болотам. В блиндаже попискивала рация, зуммерил телефон, слышались хрипловатый голос дежурного телефониста, стук костяшек по столу и возгласы Никитина. Старший лейтенант в минуты затишья с азартом дулся в домино и сердился, когда военфельдшер или кто-нибудь другой обыгрывал его.

Ночи стояли звездные, тихие, в овраг наползал туман, и даже кусты были мокрые. Я шел в темноте по оврагу, роса сыпалась мне на плечи, высокая трава вдоль тропки била по коленкам, и, ког-

да я добирался до траншеи, ноги были мокры. Меня окликали часовые возле станковых и ручных пулеметов, остальные солдаты сидели кучками, курили в рукав, тихо переговаривались. Здесь тоже никто не спал. Командиры взводов докладывали обстановку. В самой передней траншее, рядом с пулеметчиком, стоял артиллерийский разведчик, и возле него, в нише, лежали разноцветные ракеты для срочного вызова артогня. Когда я видел разведчика, я вспоминал о никитинской батарее, о том, что и там не спят: наблюдатель следит за передним краем с дерева, а возле рации дежурит кто-нибудь из офицеров.

Никитин пришел ко мне четыре месяца назад, как раз в тот день, когда я принял участок. Это было весной. Я стоял в овраге на талом снегу и смотрел, как какой-то артиллерийский офицер, чертыхаясь, скользит ногами по обрыву. Ноги у него разъезжались, как у козы; когда он спустился и подошел ко мне, его сапоги, густо облепленные глиной, были, наверное, тяжелее, чем у водолаза.

Он представился:

— Старший лейтенант Никитин, назначен поддерживать вас.

— Очень хорошо, — сказал я.

Признаться, поначалу он не понравился мне. Одет он был в простую солдатскую шинель, мешковато сидевшую на плечах, топорщившуюся на спине. И не было в нем той лихой, подчеркнутой выправки, какой обычно отличаются щеголеватые артиллерийские офицеры.

Мы выбрались с ним из оврага и остановились в кустах. Несколько пуль вжикнуло мимо нас. Никитин не обратил на них никакого внимания и долго смотрел в бинокль на вражеские окопы и проволочные заграждения перед ними. У наших ног на земле примостился радист, которого Никитин привел с собой.

— Как там на батарее? — спросил Никитин, не отрывая бинокля от глаз. — Приготовились?

— Готовы, товарищ старший лейтенант, — ответил радист.

— Передайте на батарею, — проговорил Никитин и, помолчав, как-то сразу преобразившись, уже совсем иным, властным, почти сердитым голосом стал передавать команду.

Радист повторял за ним.

Скоро сзади нас вдалеке гулко выстрелила пушка, и почти тотчас же над нами с шелестом пролетел снаряд, вздыбив сырую весеннюю землю как раз посредине между нашими и вражескими окопами.

— Прицел — шесть два! — тут же скомандовал Никитин.

И вторично ударила сзади нас, в лесу, пушка, а снаряд, прошелестев, ухнул прямо в фашистские проволочные заграждения.

— Стой! — скомандовал Никитин. — Записать!

— Записать! — Сидя на земле, радист, как эхо, повторял те слова, которые говорил командир батареи.

— Где будем ставить заградительные огни, капитан? — спросил Никитин.

Я был поражен такой меткой стрельбой и с нескрываемым восхищением смотрел на него. Впервые я видел, чтобы накрывали цель со второго снаряда.

Никитин снова спросил меня, и мы стали договариваться о заградогнях. Надо было поставить их перед окопами со всех трех сторон, чтобы в любом месте отбить фашистскую атаку, а главное, перед третьим взводом, который глубже всех вдавался в оборону противника.

Выслушав меня, Никитин подумал, прищурясь, огляделся и скомандовал:

— Прицел — шесть ноль! Осколочно-фугасной!..

— Прицел — шесть ноль! — крикнул радист.

И, не успел я опомниться, над нашими головами уже не с шелестом, а с воем и так низко, что я инстинктивно пригнулся, пролетел снаряд и рванул землю в нескольких десятках метров от окопов.

— Ну как? — спросил Никитин.

— Очень хорошо, — сказал я, еще больше пораженный его мастерством.

— Стой! — скомандовал он тогда на батарею. — Записать НЗО[1] «Гром». Две зеленые и одна красная.

А мне вспомнились слова командира дивизии, направлявшего меня сюда: «Держи тот участок зубами, руками, как хочешь, а держи. Артиллериста тебе на помощь даю самого лучшего в дивизии. Художник, а не артиллерист».

И вот он стоял передо мной в своей солдатской, топорщившейся на спине шинели, простой, ничем не примечательный человек.

Вечером мы сидели с ним над схемой обороны и наносили на нее уже пристрелянные заградогни. Главным из них был «Гром» — перед окопами третьего взвода, и вызывать его надо было двумя зелеными и одной красной ракетами.

[1] Неподвижный заградительный огонь.



Никитин поселился рядом со мной в маленьком блиндаже. Там жили и трое его разведчиков, по очереди дежурившие в третьем взводе.

Шли дни, мы все больше сближались с артиллеристом, и к середине лета я даже не представлял, как мы можем обойтись друг без друга.

Было несколько тревожных ночей, когда гитлеровцы пытались выбить нас и шли в атаку, но все их попытки оканчивались для них самым печальным образом: фашистам никак не удавалось преодолеть той поистине страшной огневой завесы, которую всякий раз ставили перед нашими окопами пулеметчики и никитинские артиллеристы.

Так мы прожили четыре месяца. В это время пришло известие, что наши войска разгромили фашистов на Курской дуге и Орловском выступе. Сам командир дивизии позвонил мне и, узнав, как у нас обстоят дела, сказал:

— Слышал о победе наших войск под Орлом?

Я сказал:

— Слышал.

— Ну теперь ты мне держи этот клин во что бы то ни стало. Теперь недолго ждать, понимаешь?

Я сказал, что понял и удержу. Потом я передал этот разговор Никитину, и нам стало очень радостно: значит, и мы скоро пойдем вперед.

А ночью Никитину было приказано сняться с моего участка.

Прочитав приказание, он очень смутился и как-то виновато, растерянно сказал мне, показывая бумажку:

— Я ухожу от тебя.

— Совсем?

— Не знаю. Приказано быть с батареей к двум часам ночи возле командного пункта дивизиона. Где-то на соседнем участке будет проводиться разведка боем, и мы должны быть там.

И он ушел, и вместе с ним ушли его разведчики, и радист унес на спине свою рацию. А утром я услышал далекий гул артиллерийской пальбы и понял, что там сейчас действуют все наши артиллеристы, потому что стреляли и дивизионки, и гаубицы, и даже противотанковые «сорокапятки», которые при каждом выстреле, словно в азарте, подскакивают на месте.

Через некоторое время стрельба прекратилась, потом началась вновь, и так продолжалось почти весь день.

А у нас было очень тихо, фашисты словно вымерли, и в течение всего дня на участке разорвался лишь один снаряд. Он разорвался перед третьим взводом, и солдаты долго спорили, чей это был снаряд: некоторым показалось, будто он прилетел с нашей стороны. Все-таки было решено, что снаряд фашистский, а до наших окопов он не долетел потому, что плохо стреляют.

Скоро должна была наступить ночь, а Никитина все не было, и я начал беспокоиться: если фашисты разнюхают, что мы сидим без артиллерии, и опять полезут в атаку, то нам придется ох как плохо!

С наступлением сумерек разразилась гроза, хлынул дождь, сильный и теплый. Телефонист зажег лампу, и стало видно, как по стеклу нашего небольшого блиндажного окошка струятся дождевые потоки. Я велел вызывать по очереди все взводы, и командиры докладывали, что на их участках дела обстоят нормально: фашисты и светят и стреляют, только перед третьим взводом вот уже тридцать минут не было ни выстрела, не засветилось ни одной ракеты.

— Свети больше сам, — сказал я командиру третьего взвода. — Смотри внимательнее.

— Смотрим, — лаконично ответил он, — смотрим.

Но не успел я передать телефонисту трубку, как возле блиндажа ухнуло раз-другой, и вдруг все загудело кругом от разрывов. Сквозь накаты посыпалась земля, огромный ком глины ударил по стеклу, погасла лампа, и запахло фосфором. Этот запах внесло ветром сквозь разбитое окно и с шумом распахнувшуюся от взрывной волны дверь. Я вновь схватился за телефонную трубку, стал вызывать третий взвод, но мне долго никто не отвечал.

— «Уфа», «Уфа»! — кричал я и дул в трубку. — «Уфа»!

Потом я услышал взволнованный, задыхающийся голос:

— «Уфа» отвечает! «Уфа» отвечает! На нас идут... около роты... Мы положили их перед траншеями, но они ползут. Дайте артиллерию. «Гром»! «Гром»!

Требуют заградогонь «Гром»! Просят заградогонь «Гром»! Но что я мог сделать? Никитина не было подле меня, не было его разведчиков, не было его пушек. А командир третьего взвода кричал в телефон:

— Я вызвал «Гром»! Две зеленые и одна красная! Почему артиллерия не стреляет?

— Держись без артиллерии, — сказал я. — Держись!

И приказал перебросить ему в подмогу два ручных пулемета

и группу автоматчиков из других взводов. Это все, что я мог сделать. Потом связался с командиром полка, но мне ответили, что артиллерия, вероятно, уже на марше и батареи будут на месте минут через тридцать.

— Через тридцать! Когда мне нужен их огонь сейчас, немедленно, сию секунду!..

Вдруг телефонист, все время державший на проводе третий взвод, поднял на меня удивленные глаза:

— Наша артиллерия бьет. Смертным боем бьет. Фашисты бегут!

Я выскочил на улицу. Дождь перестал. Перестали рваться и фашистские снаряды, но зато я очень отчетливо уловил в ночи далекий гул пальбы наших пушек.

...На рассвете пришел Никитин. Устало сел на нары.

— Ну как, — спросил он, — все живы?

— Все, — сказал я. — Но фашистов побито!..

— Много?

— Человек тридцать.

Он покачал головой:

— Ловко.

— Это ты стрелял?

— Я.

— Как же ты успел?

— А я еще был на месте, когда мой наблюдатель — он все время следил за вашим участком с дерева — сообщил, что ты просишь «Гром». Мы развернулись и жахнули.

— А днем?

— Что днем?

— Днем тоже ты стрелял?

— Днем тоже я. Надо же было пристреляться на всякий случай. Своих никого не задели?

— Нет.

— Ну и хорошо.

— Спасибо тебе, друг.

— Ну, что там... — Он устало махнул рукой. Помолчав, спросил: — Хорошо, говоришь?

— Превосходно!

— Надо будет солдатам благодарность объявить.

Вошел радист:

— Товарищ старший лейтенант, связь установлена!

— Как там на батарее?

— Батарея в боевой готовности!

— Через каждые полчаса сверяйте волну. Утром две машины за снарядами. Старшина знает. Все!

СОЛДАТ КАШИРИН

Мы третьи сутки шли по следам врага. Он уходил стремительно. Было очень снежно, и нам то и дело попадались брошенные велосипеды, мотоциклы, тяжелые фургоны и огромные, безнадежно застрявшие в сугробах грузовики. В уцелевших деревнях нас встречали измученные неволей, но ликующие жители. Однажды они привели к нам двух испуганных фашистов-факельщиков. Этим фашистам было поручено остаться и поджечь деревню, а осмелевшие бабы сообща обезоружили их, связали и два дня держали в погребе. Бабы сдали нам также два факела и три пустые канистры как вещественные доказательства.

— А бензин, — сказали они, — мы разлили по лампам.

Стоял январь, все время шел снег, дороги замело, и нам было трудно тащить волокуши со станковыми пулеметами. И только самый сильный солдат нашей роты Каширин не жаловался на усталость.

В деревне, где колхозницы сдали нам пленных гитлеровцев, мы остановились на ночлег. Вечером ко мне пришел Каширин и попросил отпустить его в соседнюю деревню. До нее было всего шесть километров. Там жила семья Каширина — жена, мать и сын. Я знал, что Каширин уже идет по родным местам, но не предполагал, что деревня его окажется так близко. А в той деревне остановился штаб батальона, куда и надо было отправить пленных.

— Я к утру вернусь, — сказал Каширин. — Вы еще спать будете, как я вернусь.

— Пленных сдадите в штаб батальона. Принесете расписку. Вернуться вам к девяти ноль-ноль.

— Есть! — сказал обрадованный Каширин. — Как будет по-немецки «быстрее»?

— Шнеллер, — сказал я.

В избе было очень жарко. Мы разбросали на полу сено, сверху постелили плащ-палатки, под голову положили противогазы, на них шапки и легли спать. Первый раз за эти дни мы спали в тепле,

разувшись, а наши портянки и валенки сушились на огромной, так и пышущей жаром русской печи. Засыпая, я подумал о Каширине: наверное, он почти бегом спешит в свою деревню, покрикивая на пленных: «Шнеллер! Шнеллер!»

Однажды он показал мне фотографию своей жены. Она смотрела с фотографии большими радостными глазами, чуть улыбаясь. Так улыбаются только люди, у которых очень хорошо и чисто на душе. На ней была простенькая кофточка, на шее крупные бусы. Все это очень шло ей.

Проснулся я посреди ночи, неизвестно отчего. Может быть, от жары, а может, оттого, что мне захотелось пить. Но я тут же забыл, отчего проснулся. Мне вдруг стало тревожно. Ощущение какой-то неумолимой надвинувшейся беды охватило меня.

На столе горела прикрученная лампа, попискивала рация. Радист записывал ее попискивание на бумагу. На пороге, подперев кулаками голову, сидел Каширин. Я взглянул на часы — было три часа ночи.

— Каширин, — сказал я, — в чем дело?

Солдат вскинул голову и поднялся с порога. Даже при тусклом свете прикрученной лампы было хорошо видно его суровое, осунувшееся за эту ночь лицо.

— Пленные доставлены, товарищ капитан. Вот расписка. — Он снял шапку и вытащил из-под подкладки листок бумаги, исписанный размашистым почерком адъютанта батальона.

— Ладно, — нетерпеливо сказал я. — Как дома? Почему вы так рано вернулись?

— У меня уже нет дома, — глухо проговорил он. — Никого нет: ни матери, ни сына, ни жены. — Он говорил это, глядя куда-то в сторону остановившимися, сухо и зло блестевшими глазами. — Даже старуху, даже мальчонку не пощадили... А что он, мальчонка, им сделал, что? Соседи сказывали — жену-то они раньше, как ворвались в избу: коммунистка, солдатка, мол... И из пистолета в нее... всю обойму... А потом вывели старуху с мальчонкой-то, а он не понимает, дурачок, с бабкой за руку стоит... — простонал Каширин.

Я усадил солдата на скамейку около стола. Он оперся локтями на стол и стиснул голову своими огромными ручищами. Что я мог сказать ему, когда такое вот горе? Я стоял возле Каширина, мучительно подбирая слова утешения, но все они казались мне сейчас тусклыми, незначительными и пустыми по сравнению с тем, что произошло. Я с надеждой и нерешительностью посмотрел на радиста, словно

тот мог помочь мне найти нужные для такого случая слова. Но радист был растерян и встревожен не меньше меня.

— Ну, теперь пощады от меня не будет никому! Был добрый русский солдат, не стало такого, весь вышел, — заговорил вдруг Каширин, отняв ладони от лица и прямо, пристально глядя перед собой. — Нету теперь такого солдата Каширина. Камень у него здесь вот. — Он приложил руку к груди. — Камень, булыжник. И никому теперь — ни военным, ни штатским — не уйти вот от этих рук. — Он сжал кулаки, потряс ими над столом. — Мне бы только до логова ихнего добраться... Мне все равно теперь. Мне рассчитаться надо, и я рассчитаюсь...

Было бессмысленно говорить сейчас, что он не прав, и я отложил этот разговор до того времени, когда он успокоится. Однако и несколько дней спустя мне не удалось разубедить его. Каширин был непреклонен. Выслушав меня, он сказал:

— Нет, товарищ капитан, я знаю, как мне вести себя с ними. У меня теперь одна думка — поскорее до логова ихнего добраться. Тогда я расквитаюсь!

— Ладно, ступайте, — сказал я, подумав, что со временем у него это все-таки пройдет, должно пройти.

Однако, когда мы вступили в бой, мне пришлось убедиться, что Каширин стал еще яростнее и злее. Он бесстрашно рвался вперед, увлекая за собой других солдат. Он торопился скорее попасть в фашистское логово.

Кроме того, что Каширин обладал страшной физической силой, он был великолепный стрелок. А тут еще прибавилась эта яростная ненависть к гитлеровцам... И смерть будто отступила перед ней, перед этой святой ненавистью русского солдата. Пули, словно сговорившись, облетали, как говорят, «не брали» его. А Каширин шел напролом, лез в самые жестокие схватки.

Однажды случилось вот что.

Это было уже, когда мы подходили к границам Пруссии. Искусно замаскированный фашистский дзот преградил нам путь. Мы лежали на осенней сырой земле. Моросил дождь, а нам нельзя было поднять головы. Вдруг я услышал, как кто-то подле меня сказал:

— Я их сейчас уберу.

Это был Каширин. Не успел я ответить, а он уже пополз в обратную сторону, скрылся в кустах. Прошло минут двадцать, и мы снова увидели Каширина. Он подбирался к дзоту совсем с другой

стороны. По нему почему-то не стреляли, и Каширин спрыгнул скоро в небольшую траншейку, выбрался из нее на дзот и зашвырял амбразуру гранатами. Потом кинулся к двери, стреляя на ходу. Когда мы подбежали, все уже было кончено. Каширин сидел на земле, свесив ноги в траншейку, и скручивал папироску. В дзоте и возле распахнутой двери лежали пять мертвых фашистов.

— Пленных не было? — спросил я.

— Не было, — сказал Каширин, спрыгнул в траншейку и отвел глаза в сторону.

А часом позже я слышал, как он говорил, сидя возле костра:

— Теперь уж немного. Скоро доберусь, поквитаемся.

— Зол ты, — заметил Койнов.

— Будешь зол...

— С тебя хватит.

— Нет, не хватит, их там еще много...

Этот нечаянно подслушанный мной разговор еще больше укрепил меня в мысли, что Каширин, если не смотреть за ним, может натворить много бед. Как раз в это время был ранен мой ординарец, и я решил взять Каширина на его место: все-таки на глазах все время будет. Он отнесся к этому совершенно равнодушно. Ни радости, ни удивления, ни огорчения — ничего не отразилось на его суровом лице. Выслушав меня, Каширин сказал: «Есть!» — повернулся на каблуках и пошел во взвод за своим вещевым мешком.

А мы уже вступили в Пруссию.

Стояла весна, было солнечно и тепло. Взяв несколько городков, мы остановились в одном из них на отдых, и фронт за одну ночь далеко откатился от нас. За все время мы не встретили ни одного жителя, поэтому, когда утром солдаты привели ко мне старика и мальчика, прятавшихся в подвале, я решил сразу же допросить их. Каширин сидел рядом со мной, мы завтракали. Увидев задержанных, он вцепился пальцами в край стола, подался грудью вперед, коршуном уставился на них: вот они, те, к которым рвался он с такой яростью!

Старик вошел не спеша, у него, наверное, болели ноги. Он с трудом передвигал ими. Это был морщинистый, немного обрюзгший, седоусый немец. Подойдя к столу, он, должно быть по привычке, вытянул руки по швам, но потом, спохватившись, торопливо сдернул с седой взлохмаченной головы кепку. Рядом с ним стоял бледный мальчик лет восьми. Он, видно, не знал, как надо держать себя,



и во всем копировал старика. Когда тот встал по стойке «смирно», мальчик, взглянув на него ясными, доверчивыми глазами, тоже вытянул руки по швам. Старик сдернул кепку, и мальчик, поглядев на него снизу вверх, поспешил сделать то же самое, а потом опять посмотрел на старика, словно спрашивая, хорошо ли он поступает. Но старик не обращал на него никакого внимания.

— Кто вы? — спросил я по-немецки, заглядывая в словарь.

— Если вам трудно говорить по-немецки, я могу отвечать на русском языке, — довольно правильно сказал старик.

— Кто вы такой и почему вы остались в городе? — повторил я вопрос по-русски.

— Мне некуда уходить отсюда. Нет смысла уходить от самого себя. Мы сегодня доели последний кусок хлеба. Там для нас тоже хлеба нет...

— Откуда вы знаете русский язык?

— В прошлую войну я три года был у вас в плену, а последнее время работал вместе с русским парнем здесь, в этом городе. Он тоже маляр.

— Где он сейчас?

— Его угнали за несколько дней до вашего прихода.

— Вы не боитесь нас?

— Я не верю в то, что вы можете причинить несчастье простому человеку. — Он показал свои корявые, мозолистые руки. — Кроме того, нам незачем уходить. У нас с ним ничего нет.

Он обнял мальчика, и тот, доверчиво посмотрев на меня и Каширина, прижался к старику.

— Это ваш сын?

— Это мой внук Ганс. Мой сын в концлагере. Он коммунист. А мать его, — он посмотрел на мальчика, — умерла еще год тому назад от туберкулеза. Мы с Гансом остались вдвоем. — Он помолчал. — Может быть, сын еще придет...

Каширин, все это время молча сидевший подле меня, вдруг сорвался с места и, огромный, размашистый, выскочил из комнаты. Хлопнув дверью, он протопал коваными каблуками по каменным плитам крыльца.

— Где вы были во время боя? — спросил я немца.

— В бункере. Мы там провели три ночи. Была очень сильная артиллерийская стрельба.

Вошел Каширин. В руках он держал буханку хлеба, банку консер-

вов, несколько плиток пшенного концентрата. Он, вздохнув, положил все это на стол перед стариком и вопросительно посмотрел на меня.

— Да, отдайте, — сказал я.

— Бери, бери, — проговорил Каширин. — Надо же на первое время. А в обед присылай мальчонку с горшком каким-нибудь, старшина супу ему нальет.

— Я... простите... — сказал старик, приложив руки к груди, судорожно сжав узловатыми пальцами свою кепку.

Мальчик, взглянув на него, тоже сложил на груди руки. На глазах у старого немца выступили слезы, голос его дрогнул. А мальчик смотрел на нас с любопытством.

— Мы причинили вам много горя, и нет для нас оправдания, хотя я знал, что вы не станете платить нам тем же... Не все виноваты в равной мере... Но я никогда не думал, чтобы вы дали мне сейчас вот... — Он сказал все это, обращаясь к Каширину.

— Ладно! Чего там! — нетерпеливо перебил его Каширин и, махнув рукой, отошел к окну.

Я разрешил старику жить там, где он жил раньше, и они, очень довольные, рассовав по карманам плитки концентрата, ушли, почти одновременно надев кепки на пороге. Буханку унес старик, а мальчик обеими руками прижимал к груди консервную банку.

— Ну что, Каширин? — спросил я, когда они вышли.

— Ну что, товарищ капитан... — отозвался он, обернувшись. — Я шел сюда с одной думкой в голове — расквитаться. А увидел, как мальчонка кепку-то с головы сдернул, к деду жмется, несмышленыш, так у меня словно оборвалось что внутри. Ведь мой, может, тоже так-то вот тогда перед фашистами стоял, кепку, может, тоже... И как это можно с детьми и стариками воевать?

ГДЕ У МАЛЬЧИШКИ ДОМ?

На запад — поле и дорога. В другую сторону — город. Узкие, серые, тесные и запутанные улицы. Посредине — площадь и кирха из красного кирпича, и только с площади видно, что крыши у серых зданий черепичные, красные, не по-русски высокие и острые. С улиц этого нельзя увидеть.

— Долго мы здесь будем? — презрительно спросил Береговский.

— Говорят, до завтра, — ответил Лабушкин.

— «Говорят»... — передразнил Береговский. — Мне нужно точно знать когда. До солдата должны доводить все решения, чтобы ясно представлять, что меня ждет впереди.

— Когда отправят, тогда и скажут.

Береговский оглядел Лабушкина с ног до головы:

— Это все, что вы можете?

— Все, — честно признался Лабушкин и улыбнулся.

— Идут, — сказал Койнов.

Степенный человек, он никогда не вмешивался в спор, возникавший между Береговским и Лабушкиным, может быть, по сто раз в день.

Мы посмотрели на дорогу. Там медленно шла пестрая толпа людей, которых нам так хотелось встретить.

Мы с первого дня боев в Пруссии думали о них и просто выходили из терпения, так нам хотелось их увидеть. Нам все казалось, что в следующей деревне мы их найдем обязательно. Мы врывались в эту деревню, или в фольварк, или в помещичью усадьбу — и никого там не было. Лабушкин заглядывал во все подвалы и звал:

— Есть здесь свои... наши, русские?.. — И, помолчав, опять кричал: — Выходите! Кто здесь есть?

Береговский нетерпеливо посасывал трубочку, а Койнов сидел на корточках где-нибудь около стены, поставив автомат между колен, — большой, молчаливый, старый, но очень сильный. Они перестали забрасывать подвалы гранатами и, неосторожно заглядывая в черные, глухо молчавшие дыры, звали своих несчастных земляков.

Наступление началось в четверг. Ярко светило солнце, но рядом было море — и оттуда сильно дуло холодом.

Сперва над обороной противника — а нам показалось, что над нами, — гулко лопнул бризантный снаряд. После разрыва осталось облачко лилового дыма. Оно проплыло над нашими головами, уносимое свирепым ветром. На синем, далеком и холодном небе лиловый дымок пропал.

И сзади нас, в овраге, закашляли минометы, будто проснулось много простуженных людей. А потом ударила артиллерия, и это вышло так, словно все проснувшиеся в овраге, кашляя, начали бить в большие барабаны. Позже надсадного кашля не стало слышно, а только торопливые победные удары в большие барабаны, скоро слившиеся в единый гул. И то, что рождалось из этого гула, летело, шипя, свистя и воя, над нами к фашистам и рвалось там, поднимая ог-

ромные султаны снега, комья мерзлой земли, щепу и мотки колючей проволоки. Но пехота все еще сидела в окопах и ждала сигнала атаки, готовая в любую минуту вскарабкаться на бруствер и бежать что есть силы вперед.

Наконец пришло наше время. Сзади, из леса, вывалились глыбы наших самоходок, и, когда они нехотя переваливались через наши окопы, везде, куда ни глянь, стали вылезать пехотинцы и торопливо пристраиваться сзади движущихся орудий, что ревели и покачивали вытянутыми хоботами, словно рассерженные слоны.

Мы бежали сзади самоходок и старались не отставать. Самоходки то и дело посылали в гитлеровцев свои раскаленные, шипящие плевки и ползли вперед, а около них — и справа, и слева, и сзади — бежали люди в серых шинелях, и все кричали. Кричали разное. Койнов, например, кричал «вперед!». Потом все закричали «ура». Окопы фашистов были рядом. А мне показалось, что мы очень растянулись, хотя друг от друга людей отделяло всего пять-шесть шагов. Почему-то в атаке всегда болезненно чувствуешь, будто ты одинок.

Когда мы ворвались в фашистские окопы, взяли пленных и пошли дальше, нам стало легче, веселее. Самое страшное — начало — было сделано. Еще в тылу кое-где продолжали стрелять гитлеровские автоматчики, но нас уже ничем нельзя было остановить.

Земляков своих мы увидели только в понедельник, на пятый день наступления. Тогда ветер унялся, но солнце светило по-прежнему, и так потеплело сразу, что Береговский появился на улице без шинели и не озяб. В ночь на понедельник мы вошли в этот городок, и нашу роту оставили временно при коменданте. А под вечер пришли они.

Для нас это было вдвойне радостно: во-первых, мы наконец увидели своих, наших несчастных земляков, а во-вторых, отступление фашистов превратилось, значит, в беспорядочное бегство, если они не могли больше угонять с собой этих людей.

Мимо нас шла большая толпа. Каждый что-нибудь вез с собой в ручной тележке или в детской коляске. В тележках лежало все богатство этих бедняков. А некоторые ехали в длинных тяжелых фургонах, запряженных ранеными военными лошадьми. После боев много бродит раненых лошадей.

Мы молча смотрели на толпу. Тут были люди разных наций. Они, проходя, кланялись и говорили нам: «Здравствуйте». Русское приветствие звучало у них трогательно, торжественно и радостно, как гимн.

Даже кареглазый француз в синем берете и с такой же, как у Береговского, трубочкой во рту поздоровался с нами по-русски. После этого он громко, весело засмеялся, стиснул трубочку крепкими зубами и помахал нам рукой.

Отстав от всех, шла женщина. Я сразу заметил, что она очень больна. У нее размотался платок, выбились волосы, пальто было распахнуто, и она с трудом тянула за собой тележку. Сзади, упираясь обеими руками, тележку толкал мальчишка лет двенадцати.

Они остановились около нас, и женщина, разогнув спину, тоскливо поглядела вслед уходящей толпе.

— Домой? — приветливо спросил Лабушкин.

Женщина обернулась и отрицательно покачала головой.

— Не дойти, — тихо и убежденно сказала она.

— Ладно уж, ма, — умоляюще сказал мальчишка.

— Что с вами? — спросил Береговский, и мы сошли с тротуара к ним на дорогу.

— Плохо, — сказала женщина.

— Она давно такая, — сказал мальчишка. — Как меня бауэр хотел бить и она не дала, и он тогда ее палкой и ногами.

Она действительно была очень больна. В уголках ее тонких, нервных, бесцветных губ лежали глубокие желтые складки.

— Мы вам поможем, — сказал Береговский. — Тут недалеко до пересыльного пункта, и вы отдохнете. — Он спрятал трубочку в карман и решительно взялся за веревку тележки.

— Спасибо, — сказала женщина.

— Ну ладно, чего там, — сказал Лабушкин.

И они с Береговским повезли тележку.

Пересыльный пункт помещался на площади. Я видел, как офицеры из этого пункта занимали три больших дома для своей организации. На следующее утро я пошел туда. Береговский, проводив женщину, сказал, что ее, наверное, положат в госпиталь.

Запруженная телегами и людьми площадь была похожа на ярмарку, но там ничего не продавали. Я долго толкался в шумной, усталой, пестрой толпе, слушая ее многоязыкий, радостно возбужденный говор, и наконец наткнулся на знакомого уже мальчишку. Он сидел на каменных ступеньках лавочки колониальных товаров. Окно этой лавочки было разбито, пачки кофе и перца валялись на улице. Под окном, прислоненный к стене, стоял велосипед. На его руле висели две красные камеры. Казалось, велосипед глядит фо-

нарем, словно одноглазый, удивляясь, почему под его колесом рассыпан кофе.

Мальчишка взглянул на меня со ступенек, жалко сморщившись. Я молчал. Он понял это по-своему и покорно поднялся, ссутулившись, вытянув руки по швам, — ребенок, постигший горькое бесправие раба. Губы его дрогнули, и он тихо заплакал. Он стоял передо мной и плакал, мужественно сдерживая рыдания и отворачиваясь, наверное, для того, чтобы я не видел его слез.

Я не ожидал этого и растерялся.

— Ну что ты! — сказал я. — Что ты плачешь? Да ты сядь, сядь.

Он сел, а я подумал, что ступеньки каменные и ему холодно. А он все плакал. Кусая нижнюю губу, тихо всхлипывал и, отворачиваясь, вытирал рукавом слезы.

Тогда, ничего не сказав ему, я пошел искать госпиталь.

Но в госпитале, единственном, который успел пока перебраться в городок, долго не могли понять, о какой женщине так настойчиво я спрашиваю. Я горячился, досадовал. Ко всему этому я не знал, как ее зовут. Наконец хирург понял меня и спросил, какое отношение имею я к женщине. Я ему ответил, что это, собственно, неважно, что я посторонний.

— Скончалась, — сказал хирург, глядя на меня поверх очков, и мне показалось, что он хочет боднуть меня.

— Скончалась? — спросил я.

— Да, сегодня ночью.

— Почему? — глупо спросил я.

Он пожал плечами.

Пока я был в госпитале, на площади произошли заметные изменения: телеги и толпа были потеснены и на освобожденном месте стояло около дюжины грузовиков. Офицеры пересыльного пункта усаживали на эти машины детей и стариков, выкликая их по длинным спискам. Некоторых долго искали на площади.

А мальчишка по-прежнему торчал на ступеньках лавочки колониальных товаров. В одной руке он держал большой кусок вареного мяса, а в другой — ломоть хлеба и, кусая от них по очереди, жадно ел, то и дело с любопытством оглядываясь на свой велосипед. Около него стояли Койнов, Береговский и Лабушкин.

— Хороша у тебя машина, — сказал Лабушкин.

— Ага, — сказал мальчишка и опять с удовольствием оглянулся на велосипед. — Мировой.

— А отец твой где? — тихо спросил Койнов.

— Отец... — сказал мальчишка и откусил мясо. (И все стали ждать, пока он прожует.) — Может, воюет, — сказал он, набив полный рот.

— Один, значит, остался, — сумрачно глядя на мальчишку из-под мохнатых бровей, сказал Койнов. — Куда же ты теперь пойдешь?

Мальчишка так удивился этому вопросу, что даже перестал есть. Потом он внимательно посмотрел на каждого из нас по очереди.

— Умерла мать... — тихо произнес он, и видно было, что он давно уже понимал неизбежность такого конца. — Куда же мне теперь? — нерешительно спросил он.

— Что же, у тебя барахла-то вроде никакого не стало? — спросил Койнов, хозяйственно оглядываясь.

— Было, — сказал мальчишка, вздохнув, — там всякое... Я сегодня все на велосипед сменял с одним парнем тут. Мне оно не нужно теперь, а я давно хотел велосипед. Во, две камеры запасные дал тот парень. Умерла мать... — снова произнес он глухо и горько, и крупные слезы посыпались по его щекам.

— Да, — протянул Койнов, глядя на мальчишку и с силой растирая свой подбородок ладонью. — К кому же ты пойдешь? Надо к кому-то идти... Все вон идут к кому-то, а ты?

Видно было, Койнова очень огорчает, что мальчишке некуда идти. Он задумался.

— Ты, однако, айда к нам, в Сибирь, — неожиданно сказал он, посветлев застенчивой улыбкой, и оглянулся на товарищей, — ко мне то есть, — смущенно добавил он, обращаясь к Береговскому.

— Ясно, — коротко и одобрительно сказал тот, неторопливо дымя трубкой.

Койнов заговорил смелее, видя, что даже Береговский отнесся к этому серьезно.

— Парень ты, видать, смышленый. Я тебя человеком сделаю. К Дарье Семеновне пойдешь, к жене то есть. Придешь и скажешь: «Вам, Дарья Семеновна, поклон от мужа из Германии». И все. И будешь жить. Про один поклон скажешь — и она тебя не отпустит. Про остальное хочешь — говори, хочешь — нет... У нас там приволье, тайга рядом. А зверья всякого — куда! Будешь охотником. Айда! Вот я тебе адресок дам. — Он вытащил из кармана карандаш и тетрадку, подумал и, прежде чем написать, строго предупредил, грозя карандашом: — Только чтоб без баловства.



— Кажется, ему лучше поехать в Одессу, — серьезно сказал Береговский.

— В вашей Одессе одни камни, что хорошего? — сказал Койнов.

— Святые камни, забыли вы сказать, — вежливо повернулся к нему Береговский. — Вы, наверное, никогда не поймете, что такое Одесса. Это — город моряков и музыкантов. Великий город мужественных и доверчивых людей. Поезжай в Одессу, — сказал он мальчишке. — Ты будешь моряком.

— А ты чего не стал моряком? — спросил Койнов, отдавая мальчишке записку. Он, кажется, не на шутку решил защищаться.

— Нет, вы слышали, что он спросил? — с удивлением повернулся Береговский ко мне. — А кто я, по-вашему? — тут же накинулся он на Койнова. — Кто? — Он перевел дыхание и, тыча трубочным мундштуком в Койнова, сдержанно продолжал: — Милый папа, пока вы стреляли своих линючих белок, я ходил в Сингапур и Сан-Франциско. А вы слышали что-нибудь о паруснике «Товарищ»?.. Нет? Так я вам скажу, что на этом красивейшем корабле я плавал два года. Меня знают все капитаны, которые кидают якорь в Одесском порту. Ясно? Или еще?.. Ты едешь в Одессу, — решительно сказал он мальчишке, — и будешь жить на Дерибасовской, у моей мамы. Она примет тебя, как родного сына. — Он отобрал у оторопевшего Койнова карандаш, бумагу и стал записывать свой адрес.

Лабушкин, наблюдая за ними, вдруг сказал:

— Валяй на Дон, чего там! Наденешь штаны с лампасами, во! Будешь ходить — Ваньки Лабушкина браток. Ни черта ты их не слушай! Самое лучшее — жить у нас. Река какая — Дон! А девки у нас — эх!

— Мальчишке-то этакое! — с упреком сказал Койнов.

— Я ему все как есть, — усмирившись, сказал Лабушкин. — Поедешь? Сейчас письмецо напишу. Дай-ка. — И он взял у Береговского карандаш и бумагу.

Мальчишка держал в руке адреса и, улыбаясь, говорил всем: «Ладно».

Только один я ничего не мог предложить мальчишке. Мне самому некуда было ехать. Но мне хотелось тоже что-нибудь сделать для него, и я пошёл к грузившимся машинам.

Переговорив с офицерами, руководившими посадкой, я устроил мальчишку вместе с его велосипедом.

Он бережно спрятал адреса за пазуху и улыбался нам, сидя

в кузове автомобиля, придерживая рукой свой велосипед. Мы стояли около машины, пока он не уехал. А когда машина тронулась, Койнов сказал:

— Смотри, чтоб без баловства. — И у него это вышло так, словно он напутствовал сына.

Машина уходила все дальше и дальше. Береговский вдруг побежал за ней, но остановился и закричал:

— Куда же ты поехал?

Но мальчишка не понял и лишь долго махал нам рукой.

— На Дон подался, — сказал Лабушкин.

— Штаны с лампасами носить, — огрызнулся Береговский. — Умнее ты ничего не придумал, Ваня!

— Все равно, — примиряюще сказал Лабушкин, — везде хорошо, но на Дону ему, пожалуй, лучше.

— Ну, это положим, — возразил Береговский.

А Койнов молчал, как всегда. Он, кажется, был уверен, что мальчишка поехал в Сибирь.

Береговский и Лабушкин продолжали спорить. Я шел рядом с ними. Яркое солнце блестело на булыжной мостовой, в лужах, на широких плитах тротуара чужого города.

ГАРНИЗОН «УГОЛКА»

1

Он еще не знал, что видит командира батальона первый и последний раз.

— Лейтенант Ревуцкий прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы в должности командира стрелкового взвода вверенного вам батальона, — доложил он очень громко, четко, одним дыхом, без запиночки, да еще лихо прищелкнул при этом каблуками кирзовых сапожищ, да еще молодецки, по-ефрейторски, вскинул к виску правую ладонь.

— Ах, какой отчаянный, бравый офицер прибыл в наше распоряжение, — сказал тот, кто сидел за столом и к кому обратился Ревуцкий, от макушки до пяток наполненный волнительной важностью торжественного, как ему казалось, момента.

Тот, перед кем, вытянувшись в струнку, так страстно прокричал слова своего рапорта юный лейтенант, в самом деле был комбатом,

пожилым, усталым, лысым капитаном. Он крутил в пальцах остро отточенный карандаш, а перед ним на столе лежала большая, как скатерть, карта города, и он одновременно с жалостью и завистью, устало улыбаясь, щурясь, поглядел на незнакомого офицера, так красиво, словно на парад, одетого во все новенькое, с иголочки.

— А звать-то как вас, лейтенант Ревуцкий?

— Василием Павловичем.

— Васей-Васильком? Какое веселое имя, подумать только! — Капитан, рассматривая Ревуцкого, заулыбался еще шире и добрее. — Ах ты, Вася-Василек, — ласково проговорил он и крикнул, устремив свой взор в глубь подвала: — Старший адъютант, куда мы направим Василия Павловича Ревуцкого?

— В третью роту, товарищ капитан.

— Вот, слышали? Желаю успеха.

И только капитан проговорил эти слова, как все в подвале, душно и густо пропахшем дрянным табаком, бензиновой гарью что есть силы чадящих самодельных ламп-коптилок, мышами, кислой прелью мокрых, развешанных возле горящей печки-«буржуйки» портянок, — все в этом подвале пришло в движение и разом неузнаваемо изменилось. Тревожно зазуммерили телефоны, закричали, забубнили в трубки телефонисты, вбежал встревоженного вида сержант, еще от порога протягивая капитану мелко исписанный листок бумаги, а следом за ним быстро, размашисто прошел по подвалу артиллерийский офицер, и, пока комбат читал врученную ему сержантом депешу, артиллерист стоял возле лейтенанта Ревуцкого, весь пребывая в нетерпеливом ожидании. К столу подошел старший адъютант батальона, комбат как раз в это время кончил читать, кинул депешу на стол, а старший адъютант батальона, склонясь над картой, ткнул в нее пальцем и сказал:

— Вот здесь.

— Туда две пушки на прямую наводку, — сказал капитан артиллеристу. — Да побыстрее. — Потом он поглядел на адъютанта: — Девятому скажите, чтоб он беспрерывно контратаковал и улицу к утру мне вернул. Голову сниму за ротозейство. Впрочем, я сам все это скажу ему. Пусть срочно соединят меня с девятым...

Про лейтенанта Василия Павловича Ревуцкого все позабыли. Он потоптался в смущении и одиночестве еще немного возле обеспокоенного комбата и пошел, тоже встревожась, в тот дальний угол, где разместились батальонные адъютанты и писаря и толпились

связные из рот. Они уже получили пакеты и, засунув их за пазуху, подтягивали перед дорогой поясные ремни, надевали каски и поудобнее, посподручнее устраивали на себе гранаты и оружие.

— А что случилось? — спросил лейтенант, когда они вместе со связным третьей роты, таким же безусым молодым человеком, худеньким, с тонкой, мальчишеской шеей, голо и беззащитно торчавшей из ворота кургузой шинельки, и в каске, сползавшей на глаза, вышли из подвала на чистый, свежий воздух весенней ночи. Здесь, на разрушенной городской улице, были совсем другие, чем в подвале, запахи. Тут пахло битой щебенкой, головешками пожарищ, порохом и шибко таявшим за день, а теперь прихваченным легким морозцем весенним снегом.

— Вы что сказали, товарищ лейтенант? — спросил солдат, поправляя каску.

— Я спрашиваю: что случилось? Почему все вдруг всполошились?

— Немец пошел в атаку на правого соседа, — простодушно ответил солдат. — А у нас какой уж час пока тихо. — Он остановился, сделал лейтенанту знак, чтобы тот тоже стал, и, вновь поправив каску, сердито наподдав ее ладонью так, что она вмиг взлетела на самый затылок, понизив голос до шепота, сказал: — А теперь тикайте аж вон туда.

— Куда? — тоже шепотом спросил Василий Павлович.

— Аж вон до то́го угла. И за́раз сигайте в окошко. А как вы сиганете, так и я авось заско́чу.

— Стреляет?

— И не говорите как. Днем и не пройти. И не думайте, — запричитал связной. — Ночью еще кой-как, меньше, но тоже все паляет разрывными, собака такая. Слышите, товарищ лейтенант?

Они прислушались. Разрушенный немецкий город, в котором третьи сутки шли беспрерывные, отчаянно жестокие бои, кутала весенняя ночная тьма, и ее то тут, то там разрывали, вспугивали смутно-тревожные, зыбко и ярко мерцающие сполохи ракет и гулкие взрывы сразу непонятно даже и чего: то ли противотанковых мин, то ли гаубичных снарядов. И во всех концах города захлебывались пулеметы. Вокруг тем не менее было одиноко и до тоски пустынно.

— Тикайте же, товарищ лейтенант, тикайте, — уже беспокойно, нетерпеливо прошептал солдат. — Пока у нас тихо, так мы, может статься, целехонько добежим и с нами ничего такого не случится.

Василий Павлович Ревуцкий продолжал прислушиваться к незна-

комым и колдовски тревожным для него, свеженького здесь человека, звукам ночной военной улицы: справа, как отметил он, и ракеты светили много чаще и ярче, и гул стрельбы там почти не стихал. Слышались даже крики: не то просили о помощи, не то отдавали команды.

— Тикать? — встрепенувшись, спросил он у солдата.

— Тикать скорейче, — прошептал тот.

Прицелившись к дому, на который указал ему связной, лейтенант вобрал в себя побольше воздуха и, сгорбатясь, быстро-быстро побежал через улицу, прямо к оконному проему, подтянулся на руках, жарко, часто дыша, перевалился через подоконник и плюхнулся, больно ушибясь локтем, на кучу кирпичей.

Не успел Ревуцкий оглядеться, а связной, тоже шибко, как и он, затравленно дыша, уже сидел подле.

— А теперь пошли скорейче далее, а то он и туточки паляет минами, когда услышит, черт паршивый, — прошептал солдат.

2

И они вышли скорым шагом из дома, но уже через дверной проем и совсем в противоположную сторону, перебежали пустынный двор, миновали еще несколько в пух и прах разрушенных домов и опять же через выбитое окошко ввалились в точно такое же, как и в начале их пути, заваленное битым кирпичом помещение. Здесь находился командный пункт роты. Солдат, быстро разобравшись в темноте, царившей тут, присел на корточки возле кого-то, сидящего на земле и боком прислонившегося к стенке, и прошептал:

— Товарищ старший лейтенант, вот вам пакет, и еще со мной товарищ лейтенант до нашей роты.

— Лейтенант Ревуцкий прибыл... — четко и громко провозгласил было, взяв под козырек, Василий Павлович, но тот, что сидел в темноте возле стены, взмахнув рукой, хрипло выдохнул:

— Садись! Заткнись!

И лейтенант, подчиняясь этому властному сиплому возгласу, быстро присел рядом с солдатом на корточки. И вовремя: сразу несколько светящихся пуль пчелками вжикнуло над его головой.

— Что ты орешь? — зашипел старший лейтенант. — Тут немцы кругом чуть не на головах сидят, а ты орешь с такой радостью, словно дружка на базаре встретил.

— Виноват, не знал я, виноват, — поспешно прошептал Василий Павлович.

Помолчали.

— Курево есть? — уже совсем по-другому, мирно и доброжелательно прошептал старший лейтенант.

Лейтенант Ревуцкий еще не знал, что тоже разговаривает с ним первый и последний раз. Однако если капитана комбата он все же успел в подвале кое-как рассмотреть, то командира роты не увидел вовсе. Узнал лишь, что ротный находится в звании старшего лейтенанта, поскольку так назвал его связной, да еще запомнился голос его: хриплый, простуженный и жесткий.

Закурили, пряча папироски в рукава.

— Давно из училища? — спросил ротный.

— Сразу. Даже дома не успел побывать.

— А звать как?

— Василием Павловичем.

— А родом откуда?

— Из-под Москвы. Слышали город Подольск?

— Как не слыхать! Родители живы-здоровы?

— Мама на заводе работает, отец — не знаю где воюет. Еще сестренка есть, она тоже на заводе вместе с мамой работает.

— Комсомолец?

— Кто, я?

— Не я же.

— Конечно.

— Ладно, чирий-Василий, слушай обстановку. Мы здесь держим улицу. И она, прямо скажем, держится на том самом взводе, который ты сейчас примешь. — Ротный помолчал, подумал, потом прибавил: — Если успеешь, конечно. Так вот, если примешь — ни с места. Ни на шаг чтобы из того дома. А то всем нам будет труба. На фронте еще не бывал?

— Первый раз, — поспешно, с охотой отозвался Ревуцкий.

Ротный надсадно закашлялся, и над ними опять пронесся рой светящихся пчел. Потом, откашлявшись, ротный сипло сказал:

— Стало быть, принимаешь боевое крещение. Поздравляю. А теперь слушай дальше обстановку. Дом будешь держать всеми имеющимися в твоем распоряжении средствами. Патроны и еда тебе посланы, людей не проси, сам не нервничай понапрасну и других тоже не нервируй, потому что людей ни у меня, ни у комбата

нет. А за тот ключевой дом мы с тобой головами отвечаем в случае чего. Понял обстановочку?

— Понял, — прошептал Василий Павлович.

— Оружие есть?

— Пистолет.

— Пистолетом тут только сахар колоть. Ну, да там оружия вдоволь и даже больше. Иди. Скляренко проводит тебя. Скляренко!

— Я здесь, товарищ старший лейтенант, — отозвался сидящий подле Ревуцкого солдат-связной, только что прибежавший сюда вместе с Василием Павловичем с командного пункта батальона.

— Слушай, Скляренко, обстановку. Проведешь лейтенанта на «уголок», подождешь, а как он разберется, что к чему, уяснит и вникнет, вернешься, доложишь. Ну, валяйте, пока не светало. — И он опять надсадно, с болезненным стоном закашлялся.

— Вам надо лечиться немедленно, у вас бронхи простужены, — подождав, пока над ними пролетят вперегонки красные, желтые и зеленые пчелки, вмиг отозвавшиеся на кашель ротного, с сожалением и сочувствием сказал ему Василий Павлович.

Ротный сипло рассмеялся:

— Давай, давай топай. Такие довоенные болезни сейчас некогда лечить. Ты давай, советчик Василий, быстрее взвод принимай.

— Слушаюсь, — сказал Ревуцкий, попятился, приподнялся с корточек и, согнувшись в три погибели, побежал следом за связным.

3

Они выскочили на улицу, перемахнули ее скачками, словно антилопы, упали на покрытые ледком, холодные и скользкие торцовые камни тротуара, а полежав немного и отдышавшись, побежали, прижимаясь к стенам домов вдоль улицы. Откуда-то из темноты встречь им бил крупнокалиберный пулемет. Казалось, он где-то совсем недалеко и фашисты, стреляющие из него, прекрасно видят и солдата в сдвинутой на затылок каске, и лейтенанта Ревуцкого с гулко бьющимся сердцем, тяжело, загнанно дыша, мчащегося вдоль улицы следом за солдатом; видят и сейчас же, быть может через мгновение, выпустят целый пулеметный залп прямо в них.

Но ничего страшного не случилось, и трассирующие пули, выпущенные из того пулемета, летели себе и летели как ни в чем не бывало по самой средине улицы и таяли, гасли, потухали безобидно, печально и красиво где-то в темной уличной глубине.

И вдруг офицер и провожающий его солдат в мгновение ока исчезли с улицы, беспокойно простреливаемой крупнокалиберным пулеметом. Их словно ветром сдуло, а улица вдруг ярко и мертвенно осветилась взлетевшими в разных концах ее двумя белыми ракетами, и тут сразу поднялась неистовая испуганная пулеметно-винтовочно-автоматная пальба, рванулось на мостовой, ухнуло несколько крупных гранат, и так же враз, словно сконфузясь, все стихло. И уже трудно было понять, кто в кого, почему и откуда стрелял.

Но этой страшной, истерической стрельбы, длившейся ровно столько, сколько качались подвешенные над улицей ракеты, ни Ревуцкий, ни Скляренко не слышали. Они в это время, спрыгнув, сбежав по каменным ступенькам, шли гулким, длинным, темным подвалом, перебирая руками по его скользкой, мокрой и липкой стене, так что, когда настало время выбираться им наверх, никакой стрельбы уже не было.

Вылезши из подвала, они очутились в том самом доме, на котором, по словам ротного командира, «держалась вся улица». Позднее, когда достаточно рассвело и можно было оглядеться, узнать и определить, что к чему и зачем, лейтенант Ревуцкий понял: дом был действительно ключевой, заглавной позицией роты, захватившей и удерживающей в своих руках улицу, так как из окон его контролировались и просматривались все ближние и дальние подходы к этой улице. «Уголком» его назвали тоже не напрасно: он углом, как утюг, врезался в площадь с краснокаменной, голой и сумрачно строгой католической церковью на противоположной стороне.

Лейтенант взбежал следом за солдатом на второй этаж. Здесь чувствовались люди. Двери были выбиты, выломаны или распахнуты настежь, и лейтенант, еще не увидев ни одного человека, почувствовал непременное здесь присутствие людей: откуда-то в коридор тянуло табачным дымом, кто-то с кем-то по-ночному тихо, мирно переговаривался, где-то послышался сдержанный смех и очень отчетливый после этого возглас густым, дьяконским басом:

— Ну и балда же ты непоправимая, Авдеев!

Все говорило о том, что тут были люди, и самое отрадное — свои.

Вошедших осветили фонариком, властно сказали из темноты:

— Стой!

— «Панорама», свои, свои, — весело и торопливо сказал Скляренко. — Здорово! Кто теперь за командира у вас?

— Ты, малыш, притопал?

— Та я ж, товарищ Белоцерковский.

— Ну, здоров. Зачем тебя принесло?

— Товарища лейтенанта привел командовать вами.

— Ступайте к сержанту Егорову. Он в самом «уголке».

Сержант Егоров находился в самой что ни есть угловой комнате. Как тут можно было жить-размещаться цивильным жителям, одному богу, вероятно, известно, однако для уличного боя комната эта была доброй находкой: окна, выходившие направо и налево, а одно, широкое, с балконом-фонарем, — на самую площадь, давали возможность и глядеть и отстреливаться тоже на все три стороны, без особых хлопот держать чуть ли не круговую оборону.

4

А ночь шла на убыль. На улице уже стало сереть, и в доме можно было, хотя и с трудом, разглядеть лица людей.

Сержанту Егорову, скуластому, широкоплечему, по виду годов сорока человеку, и принадлежал тот дьяконский бас, коим кто-то был добросердечно назван балдой.

Кто же? Лейтенант Ревуцкий пожал руку сержанту и, стоя рядом с ним в простенке меж окон, огляделся. Здесь, кроме него, Скляренко и сержанта Егорова, еще был всего лишь один, круглолицый, со смуглым, грибным, румянцем на щеках, молодой и, видать, разбитной, веселый человек. Он сидел на полу возле откупоренного цинка, заряжал патронами круглые автоматные диски и, улыбаясь во весь большой рот, скалясь, смотрел на лейтенанта.

— Ну не балда ли ты, Авдеев? — спрашивал, тоже улыбаясь, сержант Егоров.

— А в чем дело? — спросил лейтенант.

— Спрашивает у меня, — охотно, с удовольствием принялся рассказывать сержант Егоров, — где, мол, трассирующие, а где простые лежат. Я говорю: «Ты читать умеешь? На ящиках написано». А он говорит: «Во-первых, темно и надписей не видать, а во-вторых...» — Тут Егоров лишь махнул рукой. — Да пусть лучше он сам вам расскажет.

— А я, товарищ лейтенант, про одну старуху ему напомнил, — подхватил разговор Авдеев. — Ее поп так-то по написанному все учил обходиться. «Ты, говорит, побольше Евангелие читай, там про все печатно сказано». А бабка ему отвечает: «Я, батюшка, перестала верить написанному-то».

— Ну, не оболтус ли, а? — опять с удовольствием спросил Егоров. — После войны куда работать-то пойдешь?

— Я после войны, товарищ сержант, сразу женюсь. А какую вторую мирную работу подсматривать — потом разберемся.

— Вот и весь его разговор, вся его кульминация, — сказал Егоров не то с осуждением, не то одобряя этот беспечно-веселый нрав солдата.

Потом он рассказал лейтенанту о деле, что значит для уличного боя этот самый пятиэтажный «уголок» и что как бы там ни было, а они обязаны удержать его в своих руках до полного победного конца. Но об этом лейтенант знал еще от ротного командира. Он не знал лишь некоторых подробностей, которых ротный не успел или не захотел сообщить и которые посоветовал уточнить на месте.

Эти подробности были вот каковы. Командир здешнего взвода был убит в первый же день боев за город. После него взводом командовал старший сержант, пока его тоже не убило. Потом командиром был еще один сержант. Этого прошлой ночью, раненого, переправили в тыл, а потом целый день командовал тут Егоров.

Теперь у него принимал взвод лейтенант Василий Павлович Ревуцкий. Но взвода-то, к сожалению, уже не было. От взвода оставалось всего лишь шестеро. Лейтенант был седьмым. И им семерым предстояло, чего бы то ни стоило, удержаться в этом разнесчастном «уголке».

— Вот такие дела, товарищ лейтенант, — без особой печали, однако, сказал сержант Егоров. — Подмоги нам ждать больше вроде бы неоткуда. Во всяком случае, на сегодняшний день. И патронов с гранатами нам успели поднести, и сухого пайка, и вы к нам успели, а теперь все пути заказаны. Уже рассвело.

5

Действительно, пока они знакомились, наступил быстрый весенний рассвет. Темнота исчезла даже из углов комнаты, и в окна стало далеко и ясно все видать: дома, развалины, мостовую, костел, небо. Тихо и пустынно было вокруг, как в воскресный день.

— Пока не началось, пойдемте, я вас с остальным гарнизоном познакомлю, — сказал Егоров. — Меня вы знаете, Авдеева тоже. Я коммунист, он беспартийный. — Егоров быстро прошел в соседнюю комнату. — Тут у нас (лейтенант, следуя его примеру, так же быстро проскочил мимо выбитых окон), тут у нас, — повторил Егоров, по-

ощрительно оглянувшись на офицера, — пулеметный расчет. Это будет комсомолец сержант Зайцев, командир пулемета, а это его помощник рядовой Жигунов.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Василий Павлович. — Я ваш новый командир. Фамилия моя Ревуцкий.

— Здравствуйте, товарищ лейтенант, — просто и приветливо ответил Зайцев, белобрысый, веснушчатый молодой человек, сидевший на корточках возле пулемета и протиравший его тряпкой. — Будем рады.

Жигунов, уже в годах, стоявший возле стены и, что-то жуя, следивший за улицей, перестал молоть челюстями и, склонив голову набок, изумленно приоткрыв рот, поглядел на лейтенанта, словно на невидаль.

— Патронов хватит? — спросил лейтенант.

— Четырнадцать лент полностью снаряжено, — ответил Зайцев.

— А воду для кожуха где берете?

— А в подвале. Там полон бак. На целый полк хватит...

— Теперь пойдемте дальше, — сказал Егоров и, выйдя в коридор, миновав несколько пустых, ободранных комнат, вышел на гулкую лестничную клетку, и они очутились в очень даже странно, нелепо после всего виденного здесь лейтенантом опрятной и чистенькой кухоньке. За дверцами буфета стояли стеклянные банки с соленьями и маринадами, гора тарелок, а на гвоздике висел чистенький передничек с крахмальными кружевными рюшками. Посреди кухни, по-барски в мягком кресле развалясь, однако с автоматом на коленях, дремал пожилой солдат в сдвинутой набок каске, расторопно вскочивший и вытянувшийся, как только Ревуцкий с Егоровым показались на лестничной площадке. Второй солдат, с окровавленным, заскорузлым бинтом на голове, в распахнутой шинели с поднятым воротником, бледный, видать от потери крови, так же, как и Жигунов, стоял в простенке и боком, сторожко, по-птичьи глядел в окно. В опущенной руке его была противотанковая граната.

— Карнаухов, — сказал сержант, указав глазами на солдата с забинтованной головой и в распахнутой шинели. — Имеет два ордена Славы. Вчера ранен. Эвакуироваться отказался... Как, болит, товарищ Карнаухов? — заботливо и почтительно спросил он у солдата.

— Терпимо, сержант, — равнодушно отозвался тот и вновь принялся глядеть в окно.

— А это, — кивнул Егоров в сторону старика, вытянувшегося,

словно по команде «смирно», — рядовой Белоцерковский. Еще в империалистическую с немцами дело имел. Бил, стало быть. А это, ребята, — обратился он к солдатам, — наш новый командир лейтенант Ревуцкий. — И улыбнулся лейтенанту, разведя руками: — Вот и весь наш гарнизон.

Когда вернулись в угловую комнату, Авдеев, аппетитно чавкая, ел хлеб с салом, а солдат-связной Скляренко, прибежавший сюда впереди лейтенанта, спал в углу, по-детски свернувшись калачиком.

— Спит, — тихо сказал Егоров. — Устал. — И обратился к командиру: — Давайте и мы поедим с вами, товарищ лейтенант, а то может так случиться, что и недосуг будет. Вон уж и солнце всходит.

Они тоже, сидя на полу, принялись есть хлеб с салом. Егоров рассказывал:

— Город этот большой, видать. Я так думаю. Потому что трамваи ходили. Чудны́е и красивые трамваи.

— Чем? — спросил лейтенант.

— А белые потому что. В белую краску, словно прогулочные яхты, покрашенные. И двери много шире наших. Вот как раз такой трамвай против костела стоит. Они оттуда вчера фаустпатронами стреляли, из трамвая, а нам их достать нечем. А ты поел и поглядывай, — обратился он к Авдееву.

— Поглядываю, — ответил тот.

— Ты не на меня поглядывай, а в окошко. — Егоров вновь по-отцовски, с доброй заботой поглядел на связного. — Застрял, малец.

— Как застрял? — спросил лейтенант.

— До вечера, — ответил Егоров. — Теперь от нас уж не выбраться. Ему бы затемно уходить надо было, а он распоряжения вашего ждал. Ну да ведь и к лучшему это. Нашего полку, как говорится, прибыло. Восьмым будет. Все нам сподручнее. А ты покормил его? — спросил он у Авдеева.

— Не то распоряжения ждать? — вопросом, благодушно ответил тот, заглядывая в окно и держа автомат наготове.

— Ну-ну, — отозвался Егоров.

Доесть хлеб с салом они не успели.

6

Сперва о стену дома с треском, грохотом и вонючим дымом ударилась мина. Егоров, берясь за автомат и поднимаясь, сказал:

— Вот и началось представление. Теперь только гляди в оба.

Они стояли с Авдеевым, прижимаясь спинами к стенам и повернув головы к окнам, сторожко следили за тем, что происходит на площади и прилегающих к ней улицах. А мины тем временем стали рваться вокруг дома одна за другой. Вдруг голосисто, яростно заработал пулемет в соседней комнате, лейтенант бросился туда, крикнул: «Где?» — но, еще не получив ответа, увидел немцев, пытавшихся перебежать площадь, и упавших на брусчатку посреди нее, и раком уползавших, а потом, вскочив, убегавших, петляя, обратно за трамвай, к костелу. На площади осталось лежать несколько неподвижных фигур в темно-зеленых мундирах. Пулемет умолк. Зайцев повернулся к лейтенанту, веснушчатое, с белесыми бровями лицо его мгновенно утратило всю сосредоточенность, какая владела им во время стрельбы, он улыбнулся и сказал:

— Во — и боле ничего! Вылазка врага отбита, противник в панике отступил, неся большие потери в живой силе и технике.

Эта фраза удивила лейтенанта Ревуцкого своей ироничностью. «Кто он такой? — подумал Василий Павлович. — Из студентов, из горожан?» Он уже намеревался расспросить сержанта о его довоенной, гражданской жизни, как в соседней комнате застрочили автоматы, и лейтенант опрометью кинулся туда. Стреляли и Егоров, и Авдеев, и мальчик Скляренко, стоя возле окон. Теперь, уже не спрашивая, лейтенант увидел из-за спины Егорова бежавших через площадь немцев. Но и здесь они были вынуждены залечь на брусчатке мостовой, хотя обратно долго не уползали, а затеяли перестрелку, довольно метко попадая в окна второго этажа. Однако люди, отстреливающиеся из этих окон, давно приноровились к такой манере войны и, прячась в простенках, успевали короткими очередями держать немцев на расстоянии и не подпускать к дому. Эта перестрелка, то затихая, то ожесточаясь, длилась долго. Лишь когда солнце уже вовсю стало светить вдоль улицы, здесь наконец все угомонилось. Немцы, зря расстреляв патроны, ретировались, а гарнизон «уголка» перевел дух. Минуты две спустя тишину нарушил одинокий винтовочный выстрел. Вслед за ним донесся голос Зайцева:

— Молодец, святой отец!

— Уложил, что ли? — крикнул Егоров.

— Так точно. Наповал.

— У нас Жигунов, кроме винтовки, никакого оружия не признает, — стал объяснять лейтенанту Егоров. — Он охотник с Алтая, белок в глаз бьет, старовер или сектант какой, точно сказать не могу, но

Зайцев зовет его за это святым отцом. Ирония, насмешка вроде бы, но он нет, ничего, не обижается. Душа в душу живут, водой не разольешь. А Зайцева я люблю, — признался он. — Я всех, кто ни в каких переделках не унывает, люблю. Добрые, сердечные люди всегда заряжены бодростью и весельем. Глядишь, иного судьба и так гнет, и этак ломает, а он все равно улыбается, песни поет. Сильный, стало быть, человек, красивый. Хотя бывает, конечно, кое-что и не так. — Он помолчал, подумал. — Скучные бывают люди, хотя и правильно все у них, и герои они вроде бы по заслуге... Да вот хотя бы взять нашего Карнаухова. Вы ведь видали его?

Лейтенант живо представил себе солдата в распахнутой шинели, с забинтованной окровавленною марлей головой, как он небрежно, сердито ответил на заботливый, ласковый вопрос Егорова, и, представив все это и еще бледное лицо его, лейтенант почувствовал, как в нем поднимаются неприязнь и отчуждение к этому солдату.

7

Тишину вновь нарушили поспешные, суетливые разрывы мин. Мины часто и густо рвались на мостовой и тротуаре возле дома, стукались, взрываясь, о его стены, не причиняя, однако, гарнизону «уголка» особого беспокойства. Осколки пролетали мимо окон, иные с визгом, иные фырча, словно примус. Опять во всех комнатах кисло запахло толом и пороховой гарью.

Потом фашисты предприняли новую попытку прорваться от костела к «уголку» и по правую его сторону, где их дальше средины площади не пустили автоматчики, и по левую сторону, где Зайцев мастерски ошпарил их потоком горячих пулеметных пуль. Отстрелявшись, он сказал:

— Графиня, вы не за то схватились, вскричал граф.

Потом лейтенант услышал, как он спросил у своего напарника, охотника Жигунова:

— Молился ли ты нынче, Дездемон, а?

— Молился, молился, — благодушно ответствовал Жигунов.

В этот раз по фашистам палил из автомата сам лейтенант. Когда возобновился минометный обстрел, он приготовился было отдавать команды, но, как и в первый раз, никаких команд его не потребовалось. Все опять происходило само по себе как по маслу без его командирского вмешательства. Каждый, словно отрепетировав, знал

свое место, свои обязанности, даже связной Скляренко, по недоразумению застрявший здесь, и каждый исполнял эти обязанности добросовестно, исправно и без суеты. Как раз когда надо, застрочили из автоматов Егоров с Авдеевым, к ним присоединился Скляренко, несколько раз во время стрельбы досадливо поправлявший сползавшую на лоб каску, подоспел на подмогу и сам лейтенант, пристроившись по правую руку от Авдеева. Чуть позднее, но опять же как раз вовремя, ударил и зайцевский работяга «максим». Слышны были выстрелы и из кухоньки, где хозяйничали Карнаухов с Белоцерковским.

И все-таки совсем не так представлял свое участие в боевых операциях Василий Павлович Ревуцкий. Совсем не этому учили его. Если действовать по правилам военной науки, соответственно уставам и наставлениям, то он по прибытии в подразделение, тщательно ознакомившись с личным составом и обстановкой, должен был прежде всего все взять в свои руки, правильно расставить и распределить силы, принять решение, поставить перед каждым бойцом его четкую задачу, а потом руководить боем, подавая те или иные необходимые команды и сигналы.

Все это было теоретически. На практике получалось нечто странное и нелепое. Началось с батальона. Кажется, надо ли, можно ли еще четче и красивее, чем он сделал это в подвале комбата, доложить о своем прибытии, но комбат даже изумился такому его рапорту, а когда Василий Павлович попробовал доложить о своем явлении ротному, немцы чуть не убили его, спасибо ротный вовремя одернул и посадил на землю. Теперь здесь. Поскольку принимать здесь, в общем, нечего, то, стало быть, нечего и брать в свои руки, а остаток гарнизона обязанности знал и исполнял настолько четко и безупречно, своевременно, не дожидаясь его команд и не нуждаясь в них, что ему стало даже неловко, стеснительно от одной лишь мысли, что он здесь не очень и нужен и его присутствие тут в облике офицера вовсе не обязательно.

И в то же время он прекрасно понимал и чувствовал свое офицерское, командирское назначение. Это сказывалось и в вежливом, предупредительном и исполнительном (хотя эта исполнительность ни в чем пока еще и не проявилась) отношении к нему сержанта и солдат, и в той ответственности за «уголок», который никоим образом и никогда нельзя было сдать немцам. И это назначение было весомее и грандиознее всего, и эту значительность его понимал не только

сам Ревуцкий, но и каждый из подчиненных теперь ему людей, и стоило офицеру сейчас вдруг распорядиться, приказать что-либо кому угодно из них, как приказ его был бы немедленно принят к исполнению и исполнен. Но что бы ему такое сделать, чтобы убедительно доказать, подтвердить хотя бы лишь себе правоту и достоверность всего этого своего ощущения, своих мятущихся нестройных умозаключений? Разве, быть может, вызвать сюда Белоцерковского, а на его место отправить Авдеева? Но какой в этом смысл? Логично ли, закономерно ли, справедливо ли это? Ведь с таким же успехом он сам мог бы пойти в кухоньку, отослать оттуда Белоцерковского и остаться там с Карнауховым. А почему надо отсылать именно Белоцерковского, а не Карнаухова? Но ведь надо же, черт возьми, командовать, руководить боем, солдатами, проявлять свою волю, знание, умение!..

8

— Глядите, товарищ лейтенант, танк, — прервал его тягостные размышления сержант Егоров.

Лейтенант вгляделся в вылетевшую из-за поворота стальную громадину. Сказал:

— Это самоходка, сержант.

— Еще чище. Вот она сейчас даст нам с вами хорошую взбучку. Где это они раздобыли ее, самоходку эту? Трое суток не было видно ни танков тут, ни орудий ихних самоходных.

Лейтенант Ревуцкий глядел в окно. По площади, чуть покачивая хоботом орудия, темным, зловещим зрачком его, уже нацеленным, как показалось в эту минуту лейтенанту, тютелька в тютельку на то самое окно, возле которого сейчас стоял он, лейтенант Василий Павлович Ревуцкий, нацелясь в Ревуцкого черным зрачком орудия, с ревом неслась самоходка. Но тут же Ревуцкий увидел и человека, отделившегося, оттолкнувшегося от их «уголка» и побежавшего навстречу танку, держа в опущенной руке противотанковую гранату. Шинель его по-прежнему была распахнута, полы раздувало на бегу, воротник словно подпирал голову, закутанную грязным, окровавленным бинтом. Он бежал, чуть наклонясь вперед, как-то боком, отведя в сторону и назад руку с гранатой.

— Ну вот дело какое... — растерянно сказал сержант Егоров.

— У него немцы сестренку изнасиловали и повесили, — сказал в задумчивости Авдеев. — Мстит.

— Откуда знаешь? — строго спросил Егоров.



— Письмо третьева дни, как раз перед наступлением, получил, убивался очень, а потом заскоруз от злости. Первое письмо за всю войну после оккупации. Он сейчас им даст прикурить, он сквитается, он такой...

Карнаухова увидели не только из «уголка». Советского солдата, выбежавшего в развевающейся шинели на пустынную площадь, увидели и немцы, засевшие повсюду вокруг, где только можно. Поднялась стрельба. Пули и справа и слева сыпались возле Карнаухова на мостовую, но не доставали его, и он все бежал навстречу танку и вдруг, падая вперед, взмахнул суповой кастрюлей и кинул, видно, что было сил, и та, описав дугу, ударилась в бок самоходки, тяжко ухнула с дымом и вспышкой, и самоходка, круто рванувшись в сторону, размотав правый трак, замерла, встав боком к «уголку». Карнаухов лежал на скользких торцовых плитах мостовой, раскинув руки, видный со всех сторон. В «уголке» было тихо. Потом раздался голос лейтенанта:

— Авдеев, вынести Карнаухова из-под огня.

— Есть вынести, — отозвался Авдеев, спешно приладил поплотнее каску на голове и, прогремев каблуками по лестнице, выскочил на площадь.

— Сержант Зайцев, — вновь прозвучал голос лейтенанта, — прикрыть пулеметным огнем действия Авдеева.

— Есть прикрыть, — отозвался из соседней комнаты Зайцев.

Как только Авдеев выбежал на площадь, стрельба немцев разом смолкла. Авдеев бежал к Карнаухову, петляя, скачками, а навстречу ему, от костела, из-за трамвая, выскочило сразу пять немцев.

Но Авдеев был расторопнее, добежал, упал, подполз под Карнаухова, взвалил его на себя, накинул его безжизненно вялые руки на плечи себе и, вскочив, побежал с ним обратно, упал на колени, поднялся, дальше побежал, только уже не так резво, а шатаясь, и было видно, что он вот-вот опять упадет и немцы, уже миновавшие самоходку, нагонят его, возьмут вместе с Карнауховым в плен.

И тут показал свой «класс» сержант Зайцев, ударив из «максима» по-над головами приятелей, но по немецким животам. И посекло тех пять фашистов зайцевскими пулями горячими, повалило в разных неестественных позах возле самоходки.

— Меткими пулеметными очередями отважный сержант Зайцев пригвоздил фашистских выродков к мостовой, — сказал Зайцев, кон-

чив стрелять, сняв пальцы с гашетки. — Капут, матка, сальо, курка, яйка.

После его слов бухнуло два винтовочных выстрела. Зайцев сказал:

— Православный христианин Дездемон Жигунов еще более меткими одиночными залпами добил пытавшуюся расползтись фашистскую нечисть.

9

А тем временем Авдеев добежал, шатаясь, до подъезда и рухнул, с Карнауховым на спине, в дверной проем. Белоцерковский втащил их в дом, ему на помощь кубарем скатился со второго этажа Скляренко, посланный лейтенантом, и они принялись ощупывать и приводить в чувство отважных смельчаков.

Но не все им удалось. Карнаухов приказал долго жить, а Авдеев, напротив того, был цел, хотя и поврежден немного: пули в двух местах пробили его правую руку, и, когда лейтенант спустился к ним, Авдеев с возбужденным лицом, широко раскрытыми, огненно горящими от пережитого только что страха глазами сидел на полу без шинели, с разорванными рукавами гимнастерки и нательной рубахи, а Скляренко неумело, або как, но зато поспешно мотал ему на руку один бинт за другим.

Белоцерковский, опустив руки по швам, стоял на коленях и горестно, с рассеянной улыбкой глядел на совсем уж теперь бледное лицо Карнаухова с полуприкрытыми глазами.

— Белоцерковский, идите на место, — сухо и требовательно сказал лейтенант. — Вы своевольно бросили пост.

— Слушаюсь, — испуганно вскочив и щелкнув каблуками, сказал Белоцерковский. — Разрешите выполнять?

— Выполняйте.

И старый солдат, как мальчишка, побежал вверх по лестнице.

— Ну что, Авдеев? — спросил лейтенант, наклоняясь к солдату и осторожно трогая кончиками пальцев его здоровое плечо.

Авдеев все так же возбужденно, должно быть еще продолжая находиться там, за дверью, на площади, широко раскрытыми блестящими глазами поглядел на лейтенанта и ответил очень громко:

— Ваше приказание выполнено в самом лучшем виде!

Да, лейтенант уже приказывал, и люди, как это и положено в армии, безоговорочно выполняли его распоряжения. И все случилось просто и само собой. Кажется, совсем недавно Василий Павлович никак не мог войти в свою командирскую роль и играть ее,

а события вдруг сложились так, что мгновенно возникла необходимость в его команде, он подал ее без промедления, и все его огорчения, тревоги, сомнения рухнули. Все сразу стало ясно и понятно. У него даже не было мгновений на раздумье, стоило или не стоило посылать на площадь Авдеева, он лишь потом подумал, что не слишком ли жестоко обошелся со стариком Белоцерковским, отправляя его прочь от убитого. В те мгновения одно лишь он знал твердо: так сейчас надо делать, необходимо, обязательно, непременно.

Скляренко намотал на авдеевскую руку целых три бинта, помог ему встать на ноги, потом помог лейтенанту отнести Карнаухова в глубь дома, уложить, скрестив руки на груди, возле стены и укрыть плащ-палаткой. После этого все трое поднялись на второй этаж.

10

На площади и вокруг дома было тихо. Только вдалеке, на соседних улицах, слышалась то затихавшая, то разгоравшаяся вновь стрельба. Егоров, стоявший в простенке, был теперь без шинели: полуденное весеннее солнце насквозь просвечивало весь дом и нагревало его. Лейтенант, тоже скинув шинель и аккуратно сложив ее, как его научили старшины в военном училище, встал в соседнем простенке, спросил, кивнув в сторону площади:

— Как там?

— Молчат, товарищ лейтенант. Не нравится мне что-то, как они молчат.

— Не удалось Карнаухова спасти.

— Это я знал, еще когда вы Авдеева посылали. — И, помолчав, как бы в оправдание лейтенанту, Егоров добавил: — Но вынести его оттуда все равно надо было обязательно. Любой ценой. Чтоб не дать на поругание. — И, еще помолчав, теперь уж, должно быть, в оправдание самому себе, продолжал: — Сложен и не сразу понятен человек. Ты думаешь о нем так, и вроде бы все у тебя складывается самым лучшим образом, а он возьмет да и обернется к тебе совсем другой стороной, и увидишь ты совсем другого в нем человека. Всегда говорю себе: не делай преждевременных выводов, смотри, ошибешься впопыхах, а делаю и ошибаюсь. Обидно. Вот, выходит, опять осталось нас шестеро. Авдеев теперь не в счет. Стрелять не можешь, Авдеев? — спросил он у солдата.

— Не могу, сержант, — отозвался тот. Он уже успел успокоиться, пришел в себя, возбуждение, ужас и геройство потухли в его при-

нявших прежние, нормальные размеры глазах. — Левой рукой кидаться буду гранатами, — пообещал он.

— Разве что, — согласился сержант Егоров. — Ах, не нравится мне это ихнее молчание. Жди беды. Смотри, Авдеев, внимательней.

— Нам приказано удержать «уголок», — раздумчиво проговорил лейтенант. — Хоть вшестером, хоть вдвоем.

— Если надо, как же не удержим, товарищ лейтенант, — убежденно сказал Егоров. — Непременно удержим. Будем живы — не помрем. Только что ж они тут примолкли у нас?

Но беспокоился он напрасно. Немцы следили за «уголком» и стреляли по окнам из пулеметов и винтовок то с одной, то с другой стороны площади. Крупнокалиберный пулемет бил откуда-то из-за трамвая или из-под него. Бил точно и длинными очередями. Выпустит очередь и молчит минут пять. И вновь в окошко летит ошалело целая стая пуль. И это наконец успокоило сержанта. А когда уже за полдень немцы в который раз безуспешно попробовали достать гарнизон «уголка» минами, Егоров и вовсе пришел в себя и повеселел.

Но потом пошло хуже. Целая полоса беспрерывных невезений. На гарнизон, возглавляемый лейтенантом Ревуцким Василием Павловичем, обрушился шквал несчастий. Погиб сержант Зайцев. Немцы в это время пытались группами подобраться к «уголку», и Зайцев, выкатив пулемет на подоконник, бил по ним отчаянно и весело.

— И врага ненавистного крепко бьет паренек Зайцев, — продекламировал он, стреляя, и тут же рухнул на пол. Над ним склонился Жигунов, он поглядел на солдата мутным, уже неживым почти взглядом и прошептал, усмехнувшись: — Ба-бах, и Зайцева не стало. Помолись за меня, Дездемон. — И с этими словами умолк навсегда.

А немцы начали наседать на «уголок» все чаще и яростнее. Они уже дважды подбирались под самые стены, но вовсе поредевший к тому времени гарнизон лейтенанта Ревуцкого не дрогнул, отбился гранатами.

— Убьют ведь, заразы! — кричал, кидая гранаты и морщась от боли, Авдеев.

Потом ранило Белоцерковского, и, когда лейтенант бинтовал его заросшую седым ежиком голову, старик испуганно стоял перед офицером, вытянувшись во фронт. Он же доложил потом, что своими глазами видел, как из роты в течение дня к «уголку» трижды пытались прорваться связные. Один был насмерть подстрелен немцами

шагах в десяти от спасительной подвальной двери, а двое уползли обратно ни с чем. Из этого сообщения лейтенант сделал вывод, что в роте, стало быть, помнили о его гарнизоне, следили за «уголком» и что-то хотели приказать ему, передать какое-то очень важное распоряжение, иначе зачем же было посылать связных в такой трудный, опасный маршрут по улицам осажденного, с безумством отбивающегося города? Но что несли связные? Что они должны были письменно ли, устно ли передать лейтенанту Ревуцкому? Все это для личного состава гарнизона оставалось загадкой. И поскольку действовал последний приказ командования, который еще ночью был дан ротным командиром Ревуцкому, о том, что он во что бы то ни стало обязан удержать «уголок» и не допустить до него немцев, — этот последний приказ и продолжал выполняться гарнизоном неукоснительно. Да и то сказать, еще неизвестно, что должны были передать связные. Возможно, конечно, отходить, а возможно, совсем наоборот — держаться до последнего. И это второе, пожалуй, было вернее, решил лейтенант, поскольку отходить засветло все равно не имело смысла: убьют как миленьких, и до своих добежать не успеешь. Сержант Егоров поддержал такое мнение начальника гарнизона. Вообще лейтенант за день очень сдружился с этим рассудительным, уравновешенным человеком. А когда узнал вдобавок ко всему, что Егоров до войны был сельским учителем, симпатии Василия Павловича к Егорову усилились и окрепли до такой степени, что ему даже стало как-то неловко командовать столь уважаемым, почтенным человеком. А Егоров, как бы понимая эту стеснительность юного и совершенно еще неопытного офицерика, тактично, по-отцовски, по-фронтовому помогал ему, как мог, не терять командирского достоинства.

11

К концу дня их в строю осталось всего лишь трое: убило Жигунова. Тоже, как и Зайцева, враз и наповал, когда он отстреливался. Но к концу этого беспокойного дня кончились настырные, сумасшедшие немецкие атаки. На пустынной площади, на каменных плитах ее, неприкаянно лежали убитые да, как изба, широко, приземисто, стояла самоходка. Что стало с экипажем, никому из личного состава гарнизона Ревуцкого не было известно.

Наступал тихий мартовский вечер, солнце скатилось за крыши разрушенных, кое-где еще дымящихся домов, на землю стали спу-

скаться, густеть на ней пахнущие дымом пожарищ и разрывов сумерки. А перестрелка продолжалась и в дальних и в ближних концах города, и где-то вдалеке одно время был слышен тревожный и густой гул танковых моторов. Чьи танки ввязались там в бой — наши ли, немецкие ли, куда они прошли, что с ними стало, — опять-таки никто в гарнизоне этого не знал.

Прислушались, погадали, прикинули и, не придя ни к какому выводу, решили, пока суд да дело, перекусить.

Белоцерковский расторопно вскрыл две банки консервов, нарезал хлеба и протянул свою дюралевую вилку-ложку офицеру:

— Ешьте, товарищ лейтенант, подправляйтесь.

Лейтенант высоко оценил этот щедрый, сердечный жест старого солдата, наложил на хлебную горбушку горку мяса и вернул вилку-ложку ее владельцу.

— Спасибо.

— Не на чем, — ответил Белоцерковский.

Так они, переговариваясь о том о сем, поглядывая в окна направо-налево, подкрепились и вроде бы даже отдохнули, посвежели, воспрянули духом.

— Ну, нас они покалечили, конечно, кой-кого и на тот свет хороших людей отправили, которые на земле нужны были позарез, — проговорил Авдеев, привалясь к простенку плечом и глядя в окно на площадь. — Но ведь мы их, гадов, наверно, вдесятеро больше уложили. И вот мне интересно знать, есть ли среди тех, что лежат вон на площади, такие же достойные, как, скажем, Зайцев или Карнаухов, человеки, или все они гады, пробы им ставить негде, туда им всем дорога и жалеть их не стоит?

— Да, наверно, есть, — сказал сержант Егоров.

— Ну? — удивился Авдеев. — И дети у которых остались сиротами и жены молодые, красивые?

— Нету, нету, — поспешно заговорил Белоцерковский, вскочив на ноги и одергивая гимнастерку, расправляя складки под ремнем. — Я так понимаю, товарищ лейтенант, что все они одинаковые враги наши и их надобно всех нещадно уничтожать, как все равно бешеных собак. Они нас хотели было уничтожить, теперь надо, чтобы мы их всех под корень, начисто. Всех как есть. За что они Жигунова убили? Что он им такого-сякого сделал? У него трое ребятишек осталось, опять же сестренка Карнаухова, изнасилованная и повешенная? Сколько людей наших от дела оторвали, рук-ног, а то и жизней ли-

шили, сказать страшно. Какое у них право на все на это? Нету такого права. Стало быть, всех их вон с лица земли, чтобы и духу ихнего поганого не было.

— Вот как, — сказал сержант Егоров, выслушав сбивчивую речь Белоцерковского и поглядев при этом на лейтенанта.

Василий Павлович Ревуцкий понял этот взгляд сержанта как приглашение вступить в завязавшуюся между бойцами гарнизона беседу.

— Сержант Егоров прав, Белоцерковский. Вы тоже, конечно, правы, но не так, как сержант. Там, — он кивнул в сторону площади, — лежат убитые нами немцы, и среди них есть или могли быть хорошие люди. И их тоже не стало. Вы меня понимаете? Запомните, Белоцерковский, наша война не просто русских с немцами, а советских людей, социалистических людей с фашистами. Это война классовая, интернациональная. Но среди лежащих на площади найдутся и такие, которых затащили в войну с нами обманом, угрозами, и вот они теперь лежат здесь. Разве их не жалко, если с такой точки зрения посмотреть на дело? Жили бы, а теперь? Вы понимаете мою мысль, Белоцерковский? Фашистских бандитов не жалко, правильно сказал Авдеев, туда им дорога, но этих жалко, а убивать их приходится, потому что они идут против нас с оружием.

— Подняли бы руки, — подал робкий голос Скляренко.

— Совершенно верно, — воодушевленно подхватил Василий Павлович. — Подняли бы руки — и остались бы живы.

Он никогда еще не говорил так долго и с таким воодушевлением и убежденностью. Он даже не подозревал, что может, умеет произносить целые речи, хоть на трибуну взбирайся, и не думал сейчас, правильно или неправильно говорит, чувствуя, ощущая всем существом своим, что только так он сам понимает этот вопрос и только так надо сейчас говорить. Произнося перед солдатами свою взволнованную речь, он все это мгновенно почувствовал, пережил, и еще больше укрепился в правоте своих слов, и даже понравился самому себе.

Он не знал, конечно, не догадывался, что понравился и бывшему учителю сержанту Егорову, который, внимательно слушая его, с удовольствием отметил: «Будешь, скоро будешь, милый мальчик, настоящим коммунистом. Голова твоя светла, помыслы, убеждения твои честны и правдивы». Он знал уже, что Василий Павлович Ревуцкий пока еще только комсомолец, еще только на подходе к партии, к рядам большевиков, к посвящению в коммунисты.

Меж тем на улице совсем уже смерклось, и легкий морозец снова стал прихватывать ледком лужи. Скоро вызвездило высокое небо. Начали взлетать над крышами, над обглоданными огнем остовами домов осветительные ракеты, а кто их пускал, где находились наши, где немцы, установить не было никакой возможности.

— Авдеев и Белоцерковский, — сказал лейтенант. — Отправляйтесь в тыл.

— Мы, товарищ лейтенант, тут останемся, — сказал Авдеев.

— Вы свое исполнили, — возразил лейтенант. — Вам обоим нужна срочная перевязка, госпиталь. Идите без разговоров.

Тут раздался голос Белоцерковского:

— Разрешите доложить, товарищ лейтенант, мы все равно не знаем, куда идти, где немцы, где наши. Лучше здесь остаться.

— Рядовой Скляренко, — позвал лейтенант.

— Слушаю.

— Вы знаете дорогу на КП роты?

— Так точно.

— Ведите раненых.

— Но...

— Выполняйте приказание.

— Слушаюсь.

— Командиру роты доложите: мы остались вдвоем с сержантом, просим подкрепления. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант. Только как же вы вдвоем?..

— Выполняйте приказание, Скляренко, да поживее...

Лейтенант командовал гарнизоном. Он отдавал распоряжения, которые подчиненным ему людям надлежало исполнить точно и неукоснительно. И, распорядившись, проводив Скляренко, Авдеева и Белоцерковского, он опять, как и днем, оставшись в «уголке» лишь вдвоем с сержантом Егоровым, не стал рассуждать, правильно или неправильно поступил, а знал наверняка, убежденно, что только так должен был решить сию минуту, отправив раненых, запросив у командования подкрепление и установив тем самым связь с ротой.

Ночь полностью вступила в свои права. В окна, когда не светили ракеты, ни зги не было видно, только звезды на небе да трассирующие пули, пролетавшие в разных направлениях через площадь и прошивавшие иной раз «уголок» из окна в окно, насквозь.

13

Сколько времени прошло с тех пор, как Скляренко увел за собой раненых солдат? Двадцать, тридцать минут? Час?

— Продержимся, ничего, — подбадривая себя, сказал лейтенант.

— Будем живы — не помрем, товарищ лейтенант, — отозвался из соседней комнаты Егоров.

И опять они умолкли, наблюдая за улицей и площадью. Сержант сказал, появляясь на пороге той комнаты, где был Василий Павлович:

— Я, товарищ лейтенант, с вашего позволения схожу в подвал за водой, пока тихо. Надо долить в кожух, освежить и пополнить.

— Да, да, идите, идите, — поспешно сказал лейтенант. — Я послежу и там и тут.

14

Он очень устал, молоденький лейтенант Ревуцкий, за этот длительный, переполненный смертельными испытаниями, неистовый день. Оставшись один, прислонясь спиной к простенку, он всего лишь, кажется, на мгновение закрыл глаза, как его вдруг, словно током, пронзило: там, внизу, на первом этаже, между ним и сержантом Егоровым, послышались немецкие голоса.

Он не знал немецкого языка, не знал, о чем там идет разговор, но понял, что немцев несколько. Они ходили, громко топая ботинками и посвечивая себе карманными фонариками.

Ах, если бы он знал немецкий язык, то, прислушавшись к разговору внизу, повел бы себя, наверное, совсем не так, как поступил спросонок, услышав приближающиеся по лестнице шаги. Подчиняясь мгновенно охватившему его безрассудному чувству, он выпрыгнул в окно, забыв, что головой отвечает за «уголок». Ах, если бы он понимал по-немецки! Ведь вот о чем разговаривали немцы:

— Я говорил, что они сами уйдут отсюда. Они не дураки, чтобы в последние дни войны держаться за этот паршивый дом.

— И тем не менее нам три дня не удавалось вышвырнуть их отсюда.

— Тебе придется писать Марте о том, как дурацки здесь погиб ее Август? Ведь ты был его приятелем.

— Погибнуть сейчас... Не хотел бы я разделить участь бедного Августа.

— А что бы ты хотел?

— Остаться в живых, вот что... А ты бы?..

— Я верен идеалам фюрера.

— Заткнись со своим бредом, дерьмо! Услышат русские, они тебе покажут эти идеалы.

— Не рассуждать. Лучше иди и посмотри, что наверху делается.

— Пришли бы сейчас сюда русские, так я бы без рассуждений поднял руки.

— И был бы избавлен от необходимости писать жене Августа.

— Да. И от его участи.

— Тсс... Что это там такое шлепнулось?

(Это выпрыгнул в окно лейтенант.)

— Нечему шлепаться. Вот тут лежит убитый. Неужели это он и держал нас?

— Ты лучше посчитай, сколько наших ребят лежит на площади...

15

Выпрыгнув и больно ушибив колено, лейтенант быстро вскочил на ноги и скорее прижался спиною к стене. Сердце часто билось. В голове шумело. «Зачем? — мгновенно отрезвляюще пронеслось в голове средь шума. — Где сержант? Что с ним? — вспомнил он про Егорова. И опять: — Почему я это сделал? У меня автомат, гранаты...»

Его охватил стыд за свой, казалось, непоправимый поступок. И такое омерзение к самому себе возникло в нем, что он заплакал с отчаяния и горечи. Слезы текли по его щекам, а в шумной голове суматошно проносилось одно и то же, одно и то же: «Как же быть? Что мне делать? Сержант Егоров... Где сержант Егоров? Ведь если бы он не спустился в подвал, мне никогда не пришло бы в голову прыгать в окошко. Как мне быть?»

Вдруг он насторожился. За углом послышался шепот. Говорили теперь по-русски.

— Погоди, дай отдышаться.

— Отдышись.

— В какую теперь сторону подадимся? Где наши?

— А я откуда знаю?

— Фу, черт! Давай пересидим здесь до утра.

— А ты наверняка знаешь, что в этом доме никого нет? А кто сюда утром придет, наши или немцы?

Выслушав это, Василий Павлович боком, боком, вжимаясь спиной,

затылком в стену, шаря по ней растопыренными руками, придвинулся к углу и зашептал:

— Слушать меня внимательно. Вы кто?

Ответа не последовало. Там, за трамваем, за костелом, взлетела ракета, забормотал пулемет.

— Отвечать немедленно, — тоном приказа зашептал Василий Павлович. — Иначе открываю огонь.

— А ты кто? — отозвались осторожно за углом.

— Начальник здешнего гарнизона лейтенант Ревуцкий. А вы?

— Танкисты. Танк подбит. Пробираемся к своим.

— Сколько вас?

— Двое.

— Выходите ко мне по одному.

Из-за угла, прижимаясь к стене, скользнули две фигуры.

— Тихо. Здесь немцы. Какое при вас оружие?

— Пистолеты.

— Вашими пистолетами здесь только сахар колоть. Вот вам по гранате. Сейчас будем брать этот дом. Задача ваша: когда я закричу «ура!» и начну стрелять из автомата, вам надо бросить в окна гранаты и тоже кричать «ура!» и стрелять из пистолетов. Я врываюсь в дом, вы за мной следом. Ясно?

Лейтенант, опять уже знающий, что делает именно то, что надо делать ему сейчас, сунул гранаты в протянутые руки танкистов и пробежал, согнувшись, к подъезду. Он вскинул автомат и, строча из него прямо перед собой, истошно закричав и услышав, как рванули в комнатах гранаты, ворвался в дом.

16

Вдоль стены с поднятыми руками, побросав оружие, стояли четверо немцев. Разъяренный лейтенант увидел их при свете мерцавшей за окнами ракеты, мгновенно сосчитал и перестал стрелять. Потом, пока не погас бледный свет в доме, он увидел пятого, скорчившегося на полу, обнявшего руками живот, увидел вбежавших с пистолетами в руках и вставших рядом с ним танкистов и сержанта Егорова, вылезшего из подвала с ведром воды.

— Сержант Егоров, — сказал лейтенант Ревуцкий. — Обыщите пленных. Заберите их наверх.

— Шнель, шнель, — скомандовал сержант.

Вслед за немцами и сержантом ушли наверх танкисты. Замыкав-

шим был лейтенант. Но не успел он ступить на лестничную площадку, как сзади раздался голос:

— Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант...

— Кто? — обернувшись и вскинув автомат, зло и бесстрашно крикнул Василий Павлович.

— То я, Скляренко. Чи вы не узнали меня?

— Ты? — радостно вскричал лейтенант.

— Та я ж, — отвечал солдат, выбираясь из подвала. — Людей до вас привел.

17

Не прошло десяти минут, а в «уголке» все изменилось. Дом был полон выбравшимися вслед за неутомимым Скляренко людьми. Уже попискивала рация, с кем-то переговаривался телефонист и кто-то другой, не Ревуцкий, бодрым голосом отдавал распоряжения.

Потом этот другой подошел к Ревуцкому:

— Старший лейтенант Осипов. Трудно пришлось?

— Ничего. Живы будем — не помрем, — сдержанно ответил Василий Павлович.

— Считайте, что объект я у вас принял. А это кто?

— Танкисты из подбитого танка.

— А это?

— Пленные.

— И пленные?

— А вы как думали?

— Ну-ну! — восхищенно сказал старший лейтенант. — Но они же мне здесь обуза.

— А вы их в подвал посадите. У вас народу вон сколько. Часового — и в подвал.

— Придется. Уходишь?

— Что же мне теперь? Мы свое сделали.

— Валяй отдыхай.

И они пожали друг другу руки.

18

Скоро, миновав подвал и несколько закоулков, три пехотинца и два танкиста выбрались в безопасное место и присели передохнуть. Начинало светать.

— Ну, силен ты, лейтенант, командовать, — сказал один из танкистов, закуривая.

Василий Павлович лишь пожал плечами в ответ.

— Я бы тебе за такую отчаянную храбрость орден Отечественной войны первой степени, не меньше, выложил. Молодец дома брать.

— Наградят, — сказал Егоров.

— А так некому награждать! — ввязался в разговор всезнающий Скляренко. — Командира роты нема, и комбата тоже.

— Почему? — спросил лейтенант.

— Товарища комроты увезли с воспалением легких, а комбата убило.

Василий Павлович живо представил себе хриплый, надсадный голос ротного, усталое, озабоченное лицо комбата, как он пошутил, сказав про Василия Павловича: «Ах, какой отчаянный, бравый офицер». Представил все это, и ему до боли стало жаль чего-то утерянного, навсегда утраченного им в этот день и в то же время радостно и счастливо оттого, что остался жив-здоров и теперь вот вышел из боя и будет, наверное, несколько дней отдыхать.

— А нас сменила свежая бригада. Сейчас на последний штурм пойдут, — говорил Скляренко.

— Товарищ капитан, — сказал один танкист другому, — а ты бы реляцию на лейтенанта написал, раз такое дело, командующему бы подали.

— А что? — сказал тот, которого назвали капитаном. — Ты только напомни мне.

Василий Павлович в смущении покосился на него.

— Я одного не пойму, — сказал сержант Егоров. — Откуда у нас взялись пленные? Только, кажется, спустился в подвал, нашел воду, зачерпнул, как вдруг — стрельба. Выскакиваю, а в доме уже пленные стоят.

— Ладно, покурили — и подъем, — сказал лейтенант, оправясь от смущения. — Подъем — и в путь. Так, товарищ капитан? Вы уж извините, если что было не так с моей стороны. Служба.

— О чем разговор, лейтенант, — ответил танкист. — Порядочек, как в танковых войсках. Пошли.

И они, не торопясь, зашагали вдоль разрушенной и вовсе теперь посветлевшей утренней городской улицы, удивляясь, почему вдруг стало так тихо.

Немцы повсюду складывали оружие.

* * *

Цена 16 коп.

